

Петр ДМИТРИЕВ

# «СОЛДАТ БЕРИИ»

ВОСПОМИНАНИЯ ЛАГЕРНОГО ОХРАННИКА

Ленинград  
**час пик**  
1991



Петр  
ДМИТРИЕВ

# «СОЛДАТ БЕРИИ»



ВОСПОМИНАНИЯ  
ЛАГЕРНОГО  
ОХРАННИКА

**час пик**

Ленинград  
1991

63.3(0)63

Д53

Редактор *И. Ю. Куберский*

Художник *А. К. Тимошевский*

ISBN 5-7600-0005-5

© Петр Дмитриев, 1991

В «Архипелаге ГУЛАГ» есть небольшая глава под названием «Сынки с автоматами». Это о тех, кто охранял заключенных в лагерях. Солженицын знает проблемы «сынков» — ведь они были призваны служить Родине, принимали присягу, — и все же он их судит: «Слаба ж была в них, значит, общечеловеческая закладка... если не устояли они против присяги и политбесед». Но откуда ей было взяться, этой общечеловеческой закладке, говорим сегодня мы, если сам основатель нашего советского государства вместо общечеловеческой признавал лишь классовую мораль. И в самом деле, какой страшный урон понесло от этой «классовости» наше общество. Ну а разве те, кто прозрел задолго до благословенной поры перестройки и гласности, разве они не становились париями в своей собственной стране? Не слишком ли суров счет к сынкам, воспитывавшимся вместе с нами на жутковатом примере пионера Павлика Морозова? И все же...

Автор этой книги, призванный в 1951 году на службу в войска МВД охранять «особо опасных политических преступников», прошел свой путь от рабского подчинения системе до осуждения ее.

Сегодня уже никого не удивишь «лагерной литературой» — поток воспоминаний жертв нашего тоталитаризма хлынул на страницы газет и журналов, вышли десятки книг... Но мне лично еще не встречались воспоминания свидетелей массового террора, находившихся по другую сторону колючей проволоки. Письма — да, попадались. Но не книги.

Признаюсь, готовя эту книгу к печати, познакомившись с ее автором, я не сразу преодолел некоторое недоверие к отдельным ее страницам — неужели уже тогда, в начале пятидесятых, молодой сержант, пусть молча, пусть про себя, осуждал строй, обрекавший на полное бесправие человека, неважно зэк это или охранник. Не с такой ли поправкой глядим все мы теперь на свое прошлое? Нет ли здесь



того, что называется абберрацией памяти? Однако рукопись была закончена в 1985 году, когда до гласности оставалось еще несколько лет пути... А круг чтения автора? Представьте себе: молодой человек в свободное от конвоя время штудировал не уставы, а французских просветителей да русских демократов Белинского, Герцена. Вот, значит, откуда это постоянное возвращение к теме человеческого достоинства. Ну и военное детство, прошедшее на оккупированной немцами территории, когда рано повзрослевший подросток был у партизан проводником и разведчиком...

Все это говорило в пользу автора, но о главном я узнал только под занавес, когда редактирование было почти закончено. В одну из наших встреч Петр Федорович, набравшись духу, признался, что в 1983 году он, коммунист, мастер участка, был арестован по сфабрикованному делу о хозяйственной растрате и приговорен к восьми годам лагерей. О последней волне репрессий, обрушившихся на нас в то переходное андроповское время, еще почти ничего не сказано. Но ясно, что это она, система, искала и, конечно, находила стрелочников и козлов отпущения.

Безупречный труд помог Дмитриеву до срока выйти на свободу, но именно там, в лагерной неволе, и была написана эта горькая и страшная книга.

Теперь все встало на свои места. К истине можно прийти и умозрительно — через просветителей, объявивших человека мерой всех вещей, — но и тяжким путем страданий: сначала в форме конвоира, а затем в робе заключенного.

Итак, перед нами не беллетристика, а свидетельство, исповедь, человеческий документ. В свое время в нашем книгоиздательском деле был создан мощный институт редакторов — как бы предварительная цензура на пути книги к читателю, дабы тот не узнал правды, неудобной властям. Так были перепаханы и перепросеяны даже «святая святых» — воспоминания о Ленине, составившие известный многотомник. Так потом подправлялись и книги о войне.

Это время, кажется, навсегда ушло. И если автор этой книги не всегда последователен, пусть судит его не издатель, а читатель. Но и судом пусть не спешит, ибо по главному счету — это честная книга. Правда же очистительна.

Исправления здесь касались лишь явных языковых и стилистических погрешностей и не затрагивали ни событий, ни фактов — их ведь и не исправишь.

ИГОРЬ КУБЕРСКИЙ

# 1

Если света в окне нет,  
Значит, мужа дома нет.  
Ха, ха,— ха-ха!  
Ха, ха — ха-ха!  
Нежно Машку накрой,  
Скоро кончится бой,  
И опять мы вернемся домой.

А до этого пели хором, сбившись тесной кучкой, солдатскую песню времен Отечественной войны:

Слушайте, сопки, слушай, Байкал,  
Тот, кто в Берлине вчера нам играл.  
Песенку эту с любовью играю,  
Дальний поход и друзей вспоминаю.

Пел и играл на гармошке призывник Клюев, сильный, плотный парень с короткими руками и толстыми пальцами. Играл довольно хорошо, почти не врал. Со стороны казалось — обращается он с гармошкой грубо. В его медвежьих руках она выглядела маленькой и игрушечной. Он тискал ее, сводил и разводил мехи, одновременно подбрасывая то одним, то другим коленом. В рот преданно смотрел ему и лихо, самозабвенно подпевал Страхов. По всему было видно, что тип он прожженный и в любой обстановке он как рыба в воде. То, что рядом стоят незнакомые сержанты и офицеры, ответственные за пополнение, его не смущало.

Нас, призывников, много. Мы на Московском вокзале ждем подачи эшелона. Он задерживается. Вокруг кучи грязного подтаявшего снега. Идет весна 1951 года. Мы, как тюлени на лежбище, обложили два пакгауза. Не помогают надписи: «Осторожно, негабаритное место». Отчаянные потянулись по путям в город, за ленинградской горькой...

Только в сумерках подали эшелон. Было холодно и неуютно. В товарных вагонах — «буржуйки» и нары из сырых досок с наледью и снегом. Их только что сколотили.

Посреди вагона и под нарами чурки сырых дров. Не зря в призывной повестке предупреждали: иметь с собой теплые вещи и продукты питания на пять суток. Мне все не верится, что едем мы не на юг, а куда-то на север. Куда именно?

У чугунной «буржуйки» колдует несколько человек. Дрова сипят, дымят. Наконец, бока ее краснеют, с нар валит пар, и начинается капель. Только за полночь улеглись мы на верхний, еще сырой и холодный, настил. Переворачиваясь с одного бока на другой, я терзался мыслью: «Почему так?» Почему такое жестокое, ничем не оправданное унижение человеческого достоинства? Ведь не военное чрезвычайное положение диктовало эту шальную поспешность сборов! Под самый конец рабочей смены мне вручили повестку-уведомление о том, что утром я должен быть на сборном пункте. Не оформив расчета, не попрощавшись с женой, которая работала в ночь... И этот холодный, обледеневший товарный вагон. Мы, выходит, для кого-то тоже товар.

В Бологом долго стояли в тупике. Офицер и сержанты с каждым днем все требовательнее. Мы говорим — наглеют. Они дружно встречают затоварившихся в магазинах, обыскивают, отнимают бутылки и, взяв их за горлышко, разбивают о рельсы.

На пятые сутки мы добрались до Котласа. Не бритые, не умытые ни разу, не чистившие зубы, пьющие воду из тендера паровоза... Эшелон остановился за окраиной Котласа в километре от деревянных бараков и шанхайчиков, наполовину занесенных снегом. Пока заливали в тендер паровоза воду, все попрыгали из вагонов на заснеженную землю. Рядом с низкой насыпью под снегом обнаружили канаву, подернутую тонким желто-серым грязноватым льдом. Кто чем стали пробивать во льду лунки. Вскоре многие неприхотливые уже чистили порошок зубы, умывались, утираясь платками и полотенцами. Но брезгливые сомневались и не торопились использовать вонючую воду, похожую на лоханное пойло. Проходивший вдоль состава осмотрщик остановился и закричал: «Вы что, сдурели?! Заразиться захотели? Говенной водой моетесь! Он, глядите туды, — осмотрщик вытянул руку, — видите два сортира? Оттудова и текет!» — Вдали, покосившись, стояли две уборные.

В эшелоне среди призывников уже к вечеру появились больные. Началась дизентерия. Вечером на маленьком безымянном полустапochке на минутной остановке попросилась в вагон девица, как оказалось, легкого пове-



дения. Ее подняли за руки. Всю ночь с короткими перерывами, сменяя один другого, любили ее два отчаянных здоровенных призывника. Днем при проверке ее обнаружили и высадили. Любители удовольствий поникли, отсчитывают три дня, гадают: наградила или пронесло?

Я тоже не избежал отравления. Съел банку рыбных консервов, и тут же зарезало в животе. Поднялась температура. Но все обошлось. Ночью наконец высаживаемся. На станции прибытия нас ждут вооруженные солдаты с зажженными фонарями. Окрики и команды сержантов звучат теперь непререкаемо властно. Ночь ясная и морозная. На небе полыхает и переливается занавес северного сияния. Снова построение и перекличка по списку. И вот колоннами двинулись вперед. Сначала смутно, а потом все явственнее различим город. Вдали сверкает силуэт мощной ТЭЦ с огромной трубой, за ней, в километре, — другая. Стали вырисовываться освещенные улицы и высокие, в три этажа, дома, за ними — деревянные двухэтажные. Миновали городской клуб, витрину универмага, фотоателье. Справа довольно большой и высокий мост. В центре города стадион под крышей. Всех нас заводят туда. Он вместит не одну тысячу. Зал ярко освещен. Он огромен, насыщен всевозможными спортивными снарядами. Стадион «Шахтер». Здесь много офицеров и солдат-писарей с тетрадями и блокнотами в руках. Пожилой самодовольный майор-штабист поражает своей бестактностью. На глазах тысячи людей вызывающе сидит у стола, высоко задрав ноги в сапогах на спинку соседнего стула. К нему подходят с вопросами, он слушает с пренебрежением, отдает указания...

Нам приказано развязать котомки и освободить их от съестных припасов. В целях профилактики все, дескать, будет уничтожено. Едва успеваем рассовать по карманам сахар и масло. На полу растет куча копченой колбасы, консервов, сухарей.

Наконец, мы разбиты на отделения, взводы, роты и дивизионы. Объявлено, что мы находимся в Коми АССР, в городе Инта. Призваны нести службу в Советской Армии в войсках МВД по охране особо опасных политических преступников, злостных врагов народа и Советской власти. Нас строят поротно и уводят.

Поражает обилие снега на утренних улицах. За проезжей частью дороги снежные валы в рост человека и выше. Мы покидаем Инту и шагаем по расчищенной дороге. Слева за узкой полосой елового леса просвечивает

еще одна дорога. Справа в поле — два высоких корпуса. Слышу, передается по рядам: это гинекологическая больница. За поворотом дороги в редящем леске появляются низкие строения и высокие вышки над ними. Гора накатанных штабелями хвойных бревен. Лесобиржа. Дальше — длинное здание с широким крыльцом и входом. На фронтоне плакат крупными буквами: «Да здравствует Сталинская Конституция!» Ниже — призыв: «Крепите советско-военную дисциплину — будьте отличниками боевой и политической подготовки!» За солдатским клубом — нитка железной дороги и целый городок новых казарм, расположенных строгими рядами. Дорога упирается в широкие и высокие ворота из колючей проволоки. Лагерь. Чернеют бараки, длинные, приземистые, как клавиши на белой планке аккордеона. А из казарм выбегают и радостно приветствуют нас солдаты. Они «старички», 1926 и 1927 годов рождения, отслужившие по семь, восемь, а то и девять лет. «Скоро домой!» — восклицают они, потирая руки.

Нас ведут дальше. Позади остается авторота и за колючей проволокой — обставленный вышками склад ГСМ. Вдруг где-то неподалеку взвизгнула собака, и тут началось... Сотни собачьих глоток надрывно, в бешеной злобе, рвут тишину. Питомник. Розовые пасти и пар из них, вздыбленная на холке шерсть, оскаленные белые клыки, глаза, горящие волчьей лютостью. Мы скрываемся в снежных коридорах и выходим ближе к лагерю. Солдатские новые казармы кончились. Их сменяют старые бараки из тонкого теса с глубокими от мороза трещинами. Из-за расступившихся облаков выглянуло по-весеннему яркое солнце. Справа открылся хребет Уральских гор. Но что это, серое, разноликое, копошится там впереди на дороге? Это заключенные женщины. По требованию конвоя они расступаются, с лопатами в руках прижимаются к снежному валу, уступая нам дорогу. Жадно смотрят на нас, перебирают глазами каждого, словно надеясь встретить знакомых, а может, и родных. Среди них нет старух, они приветливо улыбаются нам, мы для них кусочки воли. Их обветренные лица успели загореть. На женщинах серые штаны, стянутые у щиколоток, а поверх платья — удлиненные арестантские бушлаты с номерами на спинах. На головах платки. Мне кажется, что одна из них смотрит на меня. Я тоже смотрю на нее — она похожа на мою мать. Теперь виден весь лагерь, обставленный вышками и обтянутый шатровой колючей проволокой с предзонником. С внутренней стороны густая сеть

колючки, это предупредительный ряд. С наружной стороны столбы с электрическим освещением.

Нас поселяют в бараках, отторгнутых от лагеря заключенных. В них непросыхающая сырость — больше от того, что каждый день по несколько раз здесь производится палубная помывка полов швабрами с прибитой на конце резиной. Вдоль всей казармы в два ряда нары — сплошной настил из досок. На полу грубые, тяжелые табуретки. Мы в карантине, у нас учебный период. Во главе моего отделения ефрейтор Петренко. У него на погонах одна лычка неопределенной ширины — то ли младший чин, то ли старший сержант. Он сразу получил прозвище Индюк — за то, как пыжился, как выпячивал грудь и бахвалился: «Делай, как я!»

— А ну, подсунь палец под мой ремень!

— Так же вредно затягиваться, товарищ ефрейтор...

— Молчать! Наряд вне очереди!

— Слушаюсь, наряд вне очереди.

Довольный собой, Петренко проходит мимо двух сидящих новобранцев, читающих устав и наставления. Оглядывается через плечо, затем возвращается и становится напротив. Неожиданно громко командует: «Встать! Садись! Встать! Садись!» — и так десяток раз. Бывает, что новобранец, повскакивав, затем отказывается выполнять бессмысленную команду. Тогда на помощь Индюку спешат еще трое отделенных. Мало их — тут же появляется и помкомвзвода. Тот имеет право давать больше нарядов вне очереди. Начинается с окрика: «Как вы стоите?! Встаньте по стойке «смирно»! Молчать!» Дергают новобранца и орут на него сразу все, со всех сторон: «Убери живот! Выше подбородок! Рядовой Страхов, подтяни ремень!» Через несколько минут тому надоедает неестественная унижительная поза, он расслабляет одну ногу. Сразу же окрики переходят в визг. Точно собаки в питомнике: стоит тявкнуть одной, как ее поддерживают остальные. «Кто вам давал команду стоять вольно?! Смирно! Повторите приказ! Вы слышали?!» Напирают, щиплют, злобно орут. Добавляют еще наряд и уводят в столовую мыть цеха пищеблока. А после отбоя Страхов и еще несколько таких, как он, произведут помывку полов. Засыпая, мы будем слышать, как они стучат швабрами о пол, разгоняя впереди себя воду. Но сон наш тревожен. Часто среди ночи дикие выкрики хором: «Подъем! Боевая тревога!» Орут и свои, и чужие сержанты, разжигая психоз, поднимая панику. Не успели спрыгнуть с нар, намотать портянки, как зычные голоса командуют



со всех сторон: «Выходи строиться!» За окнами яростный хриплый лай рвущихся с поводков собак. Торопливые шаги, скрип снега, неразборчивые команды: «Взвод, строиться становись! Первое отделение — стройся! Бегом марш!»

Мы обегаем военный городок и, мокрые, возвращаемся в казарму. Многие выскочили в сапогах на босу ногу, с портянками в карманах. Командирский состав это обстоятельство засвидетельствовал:

— Вас надо гонять и гонять!

Ночью непрекращающийся кашель, кашель, кашель. У некоторых надрывной, тяжелый. Утром такой же дикий подъем. В стороне стоит старшина с часами в руках. На лице его гримаса недовольства. Это значит отбой. Пожарное залезание на нары и опять подъем. Отбой! Подъем! Отбой! Подъем! Зарядка на улице в белых рубашках без пуговиц. Затем толчея в умывальнике. Добрая половина не чистит зубы. В обед мы замечаем, как сержанты уплетают нашу колбасу, предназначенную для уничтожения. Петренко увидел у двоих припрятанное в кармане сливочное масло. Отобрал. Один комочек бросил себе в чай, другой отнес сержантам за соседний стол.

Львиную долю времени мы проводим на полу, лежа на животе. Отрабатываем на макетах технику прицеливания. Карабин закреплен неподвижно на подставке, лежишь и совмещаешь глазом прорезь прицела с кончиком мушки. Напарник подводит круглую мишень, и ты командуешь ему: «Выше, ниже, влево, вправо!» Когда мишень совпадает с мушкой, говоришь: «Отмечай!» Он карандашом отметит точку совпадения. С трех раз видна стабильность твоего глазомера: кучность или рассеивание. Можно добиться почти полного совпадения точек. Но все-таки это теория. При самой стрельбе все сложнее. Надо твердо положить на упор оружие, затаить дыхание и сделать плавный спуск, не спуская глаза с мушки и мишени. Главное для нас — добиться меткой стрельбы. Реальный наш враг рядом, он здесь, за проволокой. Нападет он на нас — мы должны истребить его, побежит — не дать убежать. Метким выстрелом убить и заработать поощрение командования, десять суток отпуска без дороги или ценный подарок: часы, гармонь, а то и аккордеон. Всюду лозунги: в казарме, в столовой, в карауле, в клубе. «Приказ начальника — закон для подчиненного».

Петренко добился унижительного послушания подчиненных. Надувшись от важности, он фланирует вдоль

казармы мимо нас. Ему льстит, как мы вскакиваем перед ним по стойке «смирно», отчеканивая: «Рядовой Иванов, Петров, Сидоров!»—«Вольно! Садись!» Если Индюк заметит на лице солдата неудовольствие, явное или скрытное, то нарочно прилипнет, чтобы сломить сопротивление.

— Учтите, не мне это надо. Вы должны уметь приветствовать друг друга и командиров. Вот вы, Страхов,—командир, а вы, Волков,—подчиненный, покажите, как это делается.—Страхов с удовольствием подходит к сидящему на табурете Волкову и командует, а тот и не думает вставать. Страхов импровизирует: «Встать, разгильдяй, когда с тобой командир разговаривает!»

Волков вяло поднимается.

«Садись! Встать! Садись! Встать!»

Волков улыбается. «Учтите,—разносит его Страхов,—мне ваша улыбочка не нужна, поняли?»

— Так точно, понял!

— А ты вот, на, попробуй подсунь палец под мой ремень,—и Страхов важно надувается.

Петренко, узнав себя, отходит в сторону.

— Ерунда,—громко говорит Волков.—Раньше господские дамы себя в корсете еще ту же затягивали.

— Отставить разговорчики, рядовой Волков,—реши-тельно оборачивается Петренко.—Приступить к занятиям!

Мы учим обязанности часового на посту и при конвоировании, порядок получения заключенных из лагеря, сопровождение их в пути следования, применение оружия... Что запрещается часовому, а особенно военному служащему. Ему запрещается обращаться с жалобой к вышестоящему по званию начальнику без разрешения нижестоящего. Выходит, солдат бесправен. Он не имеет права жаловаться на того, кто его обидел, допустил грубость, оскорбил, унизил его человеческое достоинство.

За два месяца мы изучили винтовку Мосина и автомат ППШ. Научились поражать мишени. На втором месяце из дивизиона сбежали четверо молодых солдат, литовцев. До Литвы они не доехали — их поймали в пути и привезли обратно. Они усвоили, что солдат, не принявший присягу, еще не солдат со всеми вытекающими отсюда последствиями. Суд военного трибунала пока над ними не властен. Их взяли под особое наблюдение. Предупредили, что им грозит за это в будущем.

За два месяца мы только раз видели местных жителей — комиков. Случилось это в пургу на стрельбище.

Мишени, установленные на двухсотметровом рубеже, были едва различимы. Сильный ветер делал стрельбу бессмысленной. Пули шли в молоко, а чаще даже мимо щита. И тут мы увидели несколько оленьих санных упряжек и каюров на них с длинными шестами, как с копьями наперевес,— они спокойно пересекали наше стрельбище. В необъятной тундре дорог для них нет, кроме русел замерзших рек.

Зато каждый день я видел в расположении части эков — мужчин и женщин. Они занимались расчисткой уборных, которые здесь расположены на улице. Через день-два пользования в них не ступить ногой. Экскременты тут же замерзают, образуя пики, наподобие гор. Их сбивают ломом, срубают топором, выгребают лопатой. На лицах эков редко можно увидеть защитные повязки. Конвой находится от них на расстоянии 15—20 шагов.

Присягу нам приказано выучить наизусть слово в слово. Вижу, как это мучительно трудно для малограмотных. Настала моя очередь произнести клятву. Чувства, нахлынувшие на меня, заставили так сильно забиться сердце, что я не смог дочитать ее до конца. Клятва на верность Отечеству, как много заключено в этом!

7 мая 1951 года солнечный морозный утренник. На трубах оркестра играют яркие солнечные блики, искрами вспыхивают начищенные зубным порошком пуговицы офицерских шинелей. Звучит команда: «Смирно!» Выносят знамя части. Мы стоим длинной шеренгой, по пять в ряд. Прибывший из политуправления генерал приветствует нас и произносит напутствие:

— Вы должны свято соблюдать слова и смысл присяги, которые повторите сейчас перед Боевым знаменем полка. Будете зорко нести службу, добросовестно выполнять все требования уставов и наставлений по охране предателей Родины, особо опасных политических преступников, злостных и злейших врагов народа, шпионов и диверсантов. Будьте неподкупными, всегда помните слова Феликса Эдмундовича Дзержинского: у чекиста должны быть горячее сердце, холодная голова и чистые руки.

Толстый генерал перестал говорить и отошел в сторону. Командир части подполковник Банденок давно заметил движение в задних рядах и дал команду «вольно». Солдаты только этого и ждали. Тут же принялись растирать прихваченные морозом уши. Снова прозвучала зычная команда: «Смирно!» С текстом присяги в руках встал рядом со знаменем начальник штаба. Зачитал при-



сягу, опустился на одно колено, взял край знамени и поднес к губам. В этот же миг армейский дирижер поднял руки и взмахнул палочкой. Ударил гром оркестра. Потом так же неожиданно стих. Прозвучала команда: «Направо! Унести знамя!» В сопровождении шестерых автоматчиков знамя уносят в штаб полка. А мы, с оркестром во главе, длинной колонной маршируем до клуба и обратно до штаба. У тех из нас, кто был в первой шеренге на виду у начальства и не смог растереть уши, они стали распухшими, красно-фиолетового оттенка...

С этого дня учебный период закончился.

Нас влили в действующие роты. Старослужащие 1926—1927 года демобилизуются первыми. Уезжают и мои одноклассники, 1928 года рождения. Они уже отслужили, а я только призван, потому что нам, окончившим ремесленные училища, надо было отработать по направлению четыре года. Таково было государственное положение о трудовых резервах, которое по сути означало закабаление и нещадную эксплуатацию молодых рабочих. Большинство из нас работало на заводах не по специальности, а там, где желала администрация.

Основной массе призывников по двадцать три — двадцать четыре года. Многие успели жениться и обзавестись детьми. У старослужащих отпуска не было, значит, и нас ждет такая же горькая участь. В длинном здании нашей казармы — канцелярия, ленинская комната, кабинет командира роты капитана Минеева и зама по политической части старшего лейтенанта Дзеженко. В помещении моего взвода — фирменная перекладина на растяжках. Все офицеры роты отлично владеют перекладиной. Выполняют сложные, эффектные комбинации с четким соскоком. Все, кроме комроты. Я сразу определяю по его лицу, по его выпяченным водянистым губам и вялым мышцам лица, что он употребляет алкоголь, и давно. Вдоль стен казармы двухъярусные железные койки, у каждой два табурета. В казарме печи обогреваются углем. Имеются: «красный уголок», каптерка, сушилка, которая служит и курилкой.

В казарме общее построение, в строю вся рота — 180 человек. Каждый называет свою фамилию и сколько классов закончил. Один, два, три, четыре и редко — пять. Вот звучит фамилия: рядовой Чевычелов и его ответ — «семь классов».

— У-у-у, — раздается удивленный восторженный возглас.

У одного из 180 человек семь классов. Пожалуй, это

тот единственный случай, когда образование нежелательно. Нет, не нам, а политическому управлению ГУЛАГа. Военкоматам на местах дана директивная установка выше. Отбирать на службу по охране лагерей с особо опасными политическими преступниками призывников с самым низким образовательным уровнем, желательно из сельской местности. Этим преследуется определенная цель. Менее развитый солдат более аполитичен, то есть слеп, менее требователен к окружающей обстановке. Более терпелив к невзгодам и неудобствам, а главное, такой солдат, естественно, будет меньше входить в контакт с врагами народа — оболваненный и запуганный, будет верно нести службу. Вывод: чем тупее солдат, тем лучше.

## 2

Наступил день передачи эстафеты по охране лагерей города Инты нам, молодым. Этот день был задуман стать днем торжественным и последним для старослужащих. Нет, знамени полка у ворот лагеря не было, но был оркестр и «вся королевская рать», вплоть до командира части. С утра мы, построенные фронтом к вахте лагеря, наглядно засвидетельствовали всю процедуру получения эков начальниками конвоев, а также картотек на бригаду, пересчет заключенных и сверку с главным нарядчиком лагеря и старшим из охраны на вахте... Заключенные выходят из ворот зоны пятерками, интервалами в один метр, и лишь последняя шеренга может быть неполной. Затем еще раз пересчет, и лишь после этого начальник конвоя идет на вахту расписываться в журнале приема. Дальше начальник конвоя предупреждает эков:

— Внимание! В пути следования идти не растягиваться, не разговаривать, шаг влево, шаг вправо считаю побег, оружие применяю без предупреждения. Марш!

Команду «марш» каждый старается выкрикнуть в меру своих легких, выкрикнуть зычно, повелительно, устрашающе, презрительно и уничижительно. После развода нас уводят в роты, и там мы теоретически прорабатываем, закрепляем увиденное. Под вечер нас снова ведут к вахте, к воротам лагеря. Теперь нам покажут сдачу эков в лагерь. Офицеры деланно суетятся, придавая происходящему особую важность и значимость. Широкие лагерные ворота одну за другой поглощают бригады. Процедура сдачи эков несколько другая, чем получение их.

Прежде чем пропустить в лагерь, зэков обыскивают надзиратели. Это по-лагерному — шмон. Каждый поднимает руки вверх, и его в таком положении ощупывают, обшаривают. Фофаны, или бушлаты, расстегнуты. У надзирательниц на указательном пальце резиновый напальчник. У каждой подозрительной зэчки они бесцеремонно сдергивают одежду и шарят под трусиками и даже глубже. Все это на виду у конвоя. Делается это в нарушение закона. Надзирательница должна увести подозреваемую на вахту в отдельную комнату, раздеть и обшарить, имеет право заглянуть и залезть пальцем в задний проход и т. д. Может заставить раздетую доната приседать столько раз, сколько надзирательнице вздумается. За отказ — наказание: БУР.

Нет, на сей раз не зря суетятся офицеры. Они раньше нас заметили, что конвой пребывает подшофе. Они знают, может произойти ЧП. Последний день в конвое — это прощальный день с зэчками. И вот он, конфуз, состоялся. Бригада заключенных прошла за ворота, и вдруг истошный зычный вопль, слезливый, жалобный: «Слава! Слава!» — Солдат с автоматом за спиной бросился на туго натянутую шатровую колючую проволоку. Распластался на ней, раскинув руки и держась за нее. Плачущим, рыдающим, полным отчаяния голосом повторял: «Слава, Слава, Славочка ты моя!» — Она, молодая, в смятении приостановилась, обернулась на его призыв, из глаз ее текли слезы. Ее тут же подтолкнули подруги, шедшие за ней, окружили, прикрыли, заслонили собой. Товарищи солдата оторвали его от проволоки, подхватили вдвоем под руки и быстро увели. Офицеры сделали вид, что ничего особенного не произошло. Солдатская молодость прошла здесь с зэками, только по другую сторону колючки. Кто семь, кто восемь, а кто и девять лет положил в лагере. Часто без единого отпуска...

Офицеры сориентировались быстро — на дальних подступах к лагерю встали пикеты, секреты. Они выуживали из конвоя подвыпивших солдат. Но прощание все равно продолжалось, только не так заметно. Кивок головы, пристальный взгляд, сжатый кулак, воздушный поцелуй. Еще совсем недавно солдат водили в лагерный клуб на концерты, которые давали зэчки. Среди трех с половиной тысяч было немало певиц, балерин, мастеров художественного слова, танцовщиц, конференсье... Была и сама Русланова, но она в присутствии солдат и лагерного начальства не пела. На все уговоры неизменно отвечала: «Птичка в неволе не поет».



В результате продолжительных знакомств вырос в женской зоне детсад-детдом, довольно большой — из 175 малышей-дошколят. Тех же, кому стукнуло семь лет, разлучали с матерями и отправляли в детдома в Россию. Примечательно и то, что рожали зэчки, ни разу не выходявшие из зоны на протяжении трех-пяти лет. Они позволяли себе шутить в том смысле, что среди мальчиков немало и краснопогонников, то есть нас.

К нам в роту к командиру пришла девушка-надзирательница. Их много, они живут в казарме через дорогу, есть среди них и семейные с детьми. Она просит дать ей адрес обманувшего ее солдата, демобилизованного три дня назад. Показывает комроты на свою припухшую талию. Замполит старший лейтенант Дзеженко аккуратно, самолично выписывает ей московский адрес беглеца. Девушка спокойна. Уходя, сказала: «Мы еще посмотрим, кто кого обманул». Через пару недель она привезла из Москвы обманщика-жениха. Жили они дружно. Расписались в загсе. Он устроился мастером на бетонно-растворном узле. Она родила ему девочку. Мы часто видели, как он гулял с дочкой за ручку, играл с ней, был ласков. А через два года после рождения дочери жена сама дала мужу вольную — развод. Безо всякой драмы и даже малейшего намека на скандал. Он оказался хорошим мужем, а она плохой, распутной женой. Она сносно шила и настропачилась перешивать безобразные солдатские галифе. Причем не только быстро перешивала, но еще быстрее знакомилась и вступала в половую связь с солдатами. Денежная, вольная, распутная жизнь ее устраивала. Его нет. Приглянувшийся ей солдат становился ее жертвой. Похоть ее не была утонченной, скорее грубой и напористой. Делая обмеры икр и бедер, она становилась на колени с матерчатым метром на шее, ощупывала ноги, расстегивала пуговицы гультяйки и возбуждала чувства. Она была недурна собой — стройная, с длинными чувственными, трепетными пальцами. Рыжеватые волосы, заплетенные в косу, чуть веснушчатое лицо...

Теперь уже он пришел в ротную канцелярию с бутылкой белой в кармане, проститься с капитаном Миневым. Старший лейтенант Дзеженко шумно засмыкал чистым носом, задвигал, завертел головой, вытягивая шею, будто ему тужил воротник кителя, заморгал крупными, навывкате, глазами и робко, тихо вышел за дверь. Капитан, не спрашивая ни о чем, встал, открыл сейф, забрякал стаканами.

— Завтра насовсем уезжаю отсюда, — сказал бывший

муж и поставил на стол бутылку.— По рукам пошла моя Надежда.

— Слабинку, видать, дал,— наливая в стакан, произнес ротный.

— Дочку жаль, привык. Ну, товарищ капитан, всего вам!

— И тебе всего! Меня ведь скоро того,— капитан пнул ногой воздух.

— Держитесь, товарищ капитан!

Штабной писарь рассказал мне о капитане Минееве. Послали писаря как-то нарочным в Инту, домой к капитану, чтоб тот срочно в дивизион явился. Так пока маленькую не выпил, капитан не пошел. Сарай у него, под дрова, весь был завален пустыми бутылками из-под спиртного. Дверь уже не открывалась, так он доску проломил под застрехой и опускал в дыру бутылки. Впоследствии я убедился, что писарь не врал. Просто в Инте не принимали пустую посуду. Вагонов не хватало и под уголь, а уголек важнее для экономики.

### 3

Вечером в первый раз мой взвод идет в караул. А сейчас утро. Мы только что пришли из столовой. Через пять минут, которые даются, чтоб оправиться,— политзанятия. День расписан по минутам. Свободного времени хватает только на то, чтобы написать письмо. «Империализм как высшая стадия капитализма», «Монополистический капитал на ранней стадии своего развития», «Тресты, синдикаты, корпорации, банки» — таковы темы политических занятий. Командир взвода старший лейтенант Аксентьев читает по заранее составленному конспекту. Время от времени вынужден проделывать взбадривание убаюканной аудитории. Все тем же приемом, командой:

«Встать! Садись! Встать! Садись! Встать! Садись!»

На вопрос, кто может повторить прочитанное, ни один не поднимает руки.

— Что такое империализм? Рядовой Сафронов, ответьте! Не знаете? Тогда вы, Петров, скажите мне и своим товарищам, до 1914 года существовал империализм? Кстати, Алексеев, что было, вернее, произошло в 1914 году? А вы, Петров, стойте и думайте пока. В 1914 году был большой голод. А еще что?

— Наверно, холера ходила, а может, чума.

— Холера, чума, голод,— повторяет старший лейтенант.

— Во! Еще тиф гулял, косил всех подряд,— вставляет Алексеев.

— Да, и тиф был, особенно в окопах. Я вам, товарищ Алексеев, можно сказать, разжевал и в рот положил. Так какое же самое большое и важное событие произошло в 1914 году? Опять не можете ответить. Может, нам рядовой Евстигнеев поможет? Евстигнеев, встаньте и отвечайте.

— Царя скинули!

— Ну-у поторопились вы, батенька. Постойте и подумайте еще. А вы, Петров, помните вопрос?

— Так точно, товарищ старший лейтенант.

— Тогда отвечайте!

— Имперализм был.

— Во-первых, его надо правильно произносить, а во-вторых, чем вы объясните его существование?

— Раз деньги были в ходу — то и он должен быть.

— Давайте активнее, товарищи, у нас еще много вопросов впереди. Я понимаю, что это для вас один из самых сложных и тяжелых вопросов. Монополизм буржуазно-капиталистический усваивается значительно легче. Всем сесть! — приказывает командир взвода. — Рядовой Никонов, своими словами попытайтесь охарактеризовать это явление.

— Я это понимаю так,— произносит Никонов.— Когда один задавил другого.

— Вы понимаете под этим не физическое удушение, хотя происходило и такое, а скорее разорение?

— Да, да,— подхватывает Никонов,— это когда один пустил по миру другого.

— Но вы забыли сказать, для кого это характерно, ведь американский рабочий не разорит другого бедного рабочего. Никонов понял наводящий вопрос и выдал все, что знал и запомнил.

— Это делают буржуи, у которых большие заводы и фабрики.

— Как они это делают?

— Тот, у кого монополия, ну, скажем, капиталу больше, делает товару много, а который без монополии — мало.

— Вспомните пример, который я приводил вам.

Никонов вспоминает:

— Капиталист, у которого денег мало, продает костюм за триста рублей, а у которого много, продает кос-

тум за двести. Американские рабочие не дураки, да хоть бы и я, купил бы который за двести рублей, подешевле.

— Ну и какой же вывод из этого?

— За такими выводами и в Америку ехать не надо, он на рынке или на базаре завсегда случается. Один загнул за стакан семечек тридцать коп, а другой за двадцать пять копеек отдает, и семечки у него крупнее. Ясное дело, у одного берут, а другой вздыхает. Выходит: один наживается, а другой разоряется. Так оно и в Америке творится. Кто монополию захватит, тот и пан. Все американцы ходят в серых костюмах в клеточку, тут хозяин один. В широких кепках с пряжкой на боку — хозяин другой. В лакированных черных штиблетах — третий хозяин. Часы на руках у всех одинаковые, тоже монополия.

— Садитесь, рядовой Никонов. Прежде чем я назову следующую тему нашей политинформации, я вам всем еще раз напомню. Товарищ Алексеев забыл, что в 1914 году началась первая мировая война. Ее развязали империалисты за передел мира. А товарищ Евстигнеев перепутал год. Царя скинули не в 1914-м, а свергли в 1917 году. Кстати, какого царя? Цветков, назовите!

Цветков вспоминает, как дед, плетя лапти, часто напевал: «При царе, при Николашке, ели пышки да барашки».

— Николашку!

— Николая Второго, — поправляет комвзвода.

В перерыве я заглянул в открытый конспект Аксентьева. Следующая тема — антагонистические противоречия капитализма, затем — «Мировой кризис капитализма 1929 г.», «Плановое развитие соц. экономики в СССР», «Бескризисное общество в СССР»...

Политзанятия сменяются служебной подготовкой, все это долгих четыре часа. Бдительность, бдительность и еще раз бдительность — вот что требуется от нас. Враг хитер и коварен, он многолик, он окружает нас. У заключенных одна мысль, одно желание — напасть на нас. И лучше всего это сделать, когда мы спим, когда нас охраняют одни часовые. Комвзвода приводит множество примеров снятия часовых заключенными. Знайте, учат нас, из-за одного нерадивого могут погибнуть все, и мы в том числе. Он рисует перед нами жуткую картину резни, страшнее, чем варфоломеевская ночь. Заключенные захватили один лагерь, завладели оружием, это три-четыре

тысячи человек. Рядом еще десятки лагерей, они освобождают и их, предварительно смяв, уничтожив охрану. Живыми они не оставят никого. Самая тяжелая и распространенная причина нарушения часовым своих обязанностей — это сон на посту. Знайте! заключенные все время неотрывно наблюдают, как вы стоите на посту. Они вас изучают, делают выводы, готовятся. Вас на вышке хорошо видно, как вы несете службу.

После обеда и короткого сна — подъем. Проверка и чистка оружия, получение патронов. Затем служебный инструктаж и построение. Идущие в ночь в караул роты выстраиваются у штаба полка. Раздается команда дежурного по части капитана Минеева: «Смирно! Равнение на середину!» Он с красной повязкой на левой руке строевым шагом приближается к заместителю командира дивизиона майору Голубичному. Останавливается, прикладывает руку к виску и отчеканивает: «Товарищ майор, личный состав караула, пынтели, построен, докладывает дежурный по части капитан Минеев, пынтели». — «Вольно!» — «Вольно!» Слово-паразит «понимаете ли» комроты сокращенно произносит «пынтели» и вставляет его весьма часто. «Приказываю: бдительно, без нарушений нести службу по охране вверенных вам объектов! Внимание! Смирно! На-пра-во! Шагом марш!»

Взводы расходятся по охране лагерей: женской зоны, мужской, шахты номер 8-12, склада ГСМ и интендантского. В роте остаются: истопники-дневальные, инструкторы-собаководы и те, кто завтра пойдет в конвой. Вечером в 17—18 часов придет со службы конвой, доложит комроты о службе, сдаст патроны и уйдет в столовую обедать. Затем состоится разбор службы дневного конвоя по результатам проверяющих. Проверяют службу конвоя офицеры части и сержанты-сверхсрочники. Как правило, стараются это сделать скрытно, с целью захватить конвой врасплох. Иногда подбираются к объекту по-пластунски, наблюдают из-за укрытия. О результатах проверки сержанты докладывают командирам рот, офицеры — командиру дивизиона, а тот — в политотдел части. Связь с заключенными квалифицируется как измена Родине по статье 58. Мы уже знаем, что старослужащие, застигнутые во время половой связи с женщинами-зэчками, осуждены сроком на 8 лет, на 7 и лишь один на 5 лет — с учетом того, что он отслужил в МВД 9 лет.

Замечаю, в части не менее двадцати человек сипят, у них атрофировались голосовые связки. Они к службе на постах и в конвое непригодны. Но их не комиссуют. Да-



бы не давать повод другим. Работая в наряде по санчас-ти, я спросил у начальника, майора Комадея: пройдет у них это, возвратится к ним голос или пропадет совсем? Подумав, он ответил: «Если бы их в ранней стадии болезни перевести на юг, многие бы поправились. Здесь нет. Мы демобилизуем их инвалидами. Я тут не властен».

Так все больше я познаю бесчеловечное отношение к нам.

Комроты Минеев нравится тем, что краток, его за это любят все, а больше за скрытую доброту и сердечность. Инструктаж проводит по долгу службы: «Предупреждаю, пынтели, при обыске объекта, при обнаружении спиртного и съестного — консервов, колбасы и прочего, — то не вздумайте выпить и закусить, пынтели. Все обнаруженное должны в полной сохранности доставить мне в канцелярию, пынтели. Я все доставленное сдам в первый отдел на химический анализ. Все, что вы найдете, пынтели, все это отравлено и подброшено вам с одной целью — отравить конвой, пынтели».

По инструкции конвойной службы мы должны предварительно обыскать объект или строительную площадку. Расставить часовых и только после этого впустить заключенных. Дело в том, что в пригороде и в самой Инте много освободившихся, бывших зэков, они на вечном поселении без права выезда. Среди них множество сочувствующих и немало пособников. Вечером после снятия зэков с объекта гражданские придут сюда и напрягут, что ни захотят, в обозначенные заранее места, хитроумно замаскированные. Связь зэков с гражданскими идет по многим каналам. Самый очевидный и распространенный такой: идет колонна зэков, мужчин или женщин, навстречу им другая, из другого лагеря. Поравнялись. Вот тут и происходит обмен информацией. Делается это просто. Заранее написанные письма плотно связаны, к ним добавлен груз. Если нет возможности передать из рук в руки, их бросают прямо в колонну. Там подхватывают и прячут. Найти и отобрать письма, как правило, не удастся. По ротам из уст в уста пересказывается случай. В колонне у одного солдата оказался родной дядя полицай со сроком 25 лет. Можно понять состояние этого конвойного. Естественно, дядя ищет и находит возможность заговорить с ним, затем просит покурить. Солдат понимает, что это только прелюдия. После конвоя во всем честно признается и пишет рапорт. В нем просит перевести его в другое любое место: в Воркуту, Абезь, Салехард, Печору, Микунь — там везде есть

лагеря. Но нет! Командование не идет навстречу. И вот он повесился в капонире на стрельбище. Относил туда мишени, там и наложил на себя руки. Мы начинаем осознавать, что и этот случай на совести бездушного командования.

Призыв комроты Минеева нашел отклик в солдатских сердцах. К нему в сейф потоком текут коньяк, водка, спирт. В награду за это он объявляет перед строем благодарность за бдительное несение службы с занесением в личное дело, пынтели. У него бодрое, хорошее настроение. Не без помощи старослужащих мы узнаем, что химический анализ он проводит сам на себе, подобно Луи Пастеру или Коху. В скором времени солдаты прозрели, и поток поступлений резко иссяк: теперь, стало быть, чем меньше пьет капитан, тем больше — конвой. Комроты стал тасовать, варьировать конвой, ища его оптимальный для себя состав. На строительные объекты, откуда больше всего приносили спиртного, стал лично подбирать особо преданных ему солдат. Но и те не оправдали его надежд. С пьяным конвоем он расправлялся скоро и круто. Дверь канцелярии открывалась изнутри, от себя. Частенько с грохотом она открывалась, и из нее вылетал и падал на пол избитый солдат. Однажды после возвращения конвоя мы сдавали патроны. Я проходил мимо стоявшего у двери канцелярии дневального, когда неожиданно она распахнулась и с криком: «Товарищ капитан, так нельзя!» вылетел рядовой Печеницын. Прижимая ладонь к окровавленному рту, он подошел к урне и сплюнул выбитый зуб.

В противоположность капитану Минееву его замполит Дзеженко — натура в высшей мере добрая и мягкая. Воспитан, сдержан и не способен на грубость, на крик. Беседы его с нарушителями советско-воинской дисциплины в отсутствие комроты длительны индивидуальны и изнурительны, строго выдержаны в определенных правилах. Старший лейтенант резюмирует: «Товарищ Рагозин, вы знаете, уверяю вас, в чем заключается ваше нарушение. Я вас прошу стоять смирно. Пожалуйста, ногу не расслабляйте и не выставляйте ее». Сам опрятен, побрит, подтянут и мало сидит. Встанет и ходит, шумно подсвистывая совершенно чистым носом. Старший лейтенант прилично играет в шахматы, на уровне второго разряда.

— Вы сделали так называемый ход конем, я вас правильно понимаю, товарищ Рагозин?

— Никак нет, товарищ старший лейтенант. У меня одна только фамилия шахматная, а как двигать их, я не

знаю, — слегка заплетающимся языком отвечает Рагозин.

— А я подумал, раз вы — Рагозин, то и шахматист, а вы, с одной стороны, так, — он шмыгнул, подняв руку ладонью вверх, другой, правой, потер ее кругообразными движениями, — а с другой, выходит вот так. — Теперь он повернул руку ладонью вниз и потер ее такими же движениями сверху. — Команду «вольно» я вам не давал. Я думаю, товарищ Рагозин, наша беседа пойдет вам на пользу. — Он вытягивает шею, подсмывает носом, поворачивает головой туда-сюда. — А? Вы как думаете?

— Так точно, товарищ лейтенант, пойдет на пользу.

— Что вам пойдет на пользу вот это... — он щелкает себя пальцем по кадыку, — я сомневаюсь. Вы знаете, каковы могут быть последствия вашего поступка?

— Так точно!

— Идите и позовите ко мне рядового Кулагина.

— Слушаюсь!

Удивительно, что на капитана Минеева никто никогда не жаловался. Рукоприкладство прощали ему и даже гордились его особым вниманием, выраженным к тому или иному солдату. Напротив, считали за унижение идти на беседу к замполиту Дзеженко.

Старослужащие сержанты действуют на молодых разлагающе. На них командование смотрит сквозь пальцы. Им осталось служить два-три месяца. По вечерам они дружно убегают в самоволку. На койке делают «куклу» — имитируют спящего под одеялом. Меня поражают их приготовления, прихорашивания. Подшить свежий подворотничок и почистить до блеска пуговицы — это я понимаю, а вот зачем наматывать на икры полотенца, да такой толщины, что ноги с трудом влезают в голенища широких кирзовых сапог, — это уже солдафонство.

Юрий Поспелов — сержант, мой командир отделения, он из Ленинграда. Я прислушиваюсь к его разговорам и часто вызываю его на откровенность. По натуре своей он жесток, подл и нагл. Такие люди, как он, без угрызения совести будут жестоко пытать, мучить, истязать, расстреливать; даже свою мать, сестру, брата, отца — только приказы. От него я узнал многое: то, что в мужском лагере находится шпион, который в 1949—1950 годах в Москве пытался улететь в сундуке — багаже аргентинского посла, но был обнаружен таможенниками при обыске. Об этом случае писала «Правда». В женском лагере, что у нас под боком, отбывает наказание жена Бориса Чиркова, знаменитого актера, исполнявшего роль Максима в знаменитом фильме. За зону она не выходит, шьет

бушлаты. По версии, ее завербовал французский шпион в Москве. Она дала якобы согласие сотрудничать с ним, но ничего не успела сделать. Тот французский шпион находится рядом, в мужском лагере. Борис Чирков тут же после ее ареста отрекся от нее, прислал ей развод.

Командир отделения с чувством гордости, смакуя, рассказывает о жестоких истязаниях над заключенными. Особенно, когда он находился в железнодорожном конвое, в вагоне-«столышине». Там потехи ради, а больше от скуки, изощренно пытали зэков. Делали это на виду у всех, в проходе вагона. Обычно выбирали тех, кто осмеливался возражать, пытался качать права. В пути кормили селедкой, тощей и ржавой, пропитанной солью, а пить не давали, чтоб реже водить в галльон. На голое тело зэка надевали тугую смирительную рубашку, густо посыпанную солью, которая разъедала кожу, вызывая адский зуд...

Пытки, изобретенные нами, чекистами, заставили отступить грубые, средневековые. Ушли в прошлое и стали анахронизмом пытки инквизиции с поджариванием на костре, с введением иголок под ногти, а также лишение сна, умерщвление голодом, четвертование.

— Мы, чекисты,— Пospelов выпятил грудь и постукал себя кулаком,— изобрели другой метод признаний, который не оставляет следов пыток и дает возможность получить от зэка любое показание, при полном внешнем благополучии. Ни синяков, ни травм. Называется он по-нашему «коромысло».

При помощи ремней подтягивали пятки к затылку, делали это постепенно, в одном случае сжимая позвоночник, в другом растягивая, разрывая его. Наступали нестерпимые боли. На виду у своих товарищей строптивый зэк сначала просил пощады, затем умолял, потом плакал и стонал, вопил и терял сознание. Его обливали водой, приводили в чувство и истязали снова. Мученик молил, уверял палачей, что выполнит и сделает все, что они захотят. Тогда развязывали его и заставляли, как кота, лаять мочу с пола. Справлять малую нужду всего два раза в сутки не мог никто из зэков, поэтому мочились на пол. Когда зачешутся кулаки, брали зэка из купе, а их там как в бочке тюльки, до двадцати пяти человек набито, и уводили к себе в караульное отделение. Подвешивали там к багажной койке за руки, связывали ноги, чтоб не брыкался, и отбивали почки. Били ребром ладони по бокам и спине, хлестким, отрывистым ударом. В таком положении тела почки от ударов отрываются с

места и смещаются вниз. Человек обречен на тяжкие мучения, дни его сочтены.

Садист Пospelов рассказывал без чувства раскаяния. В конвое в «столышине» они унивались властью над беззащитными зэками, людьми, зачастую совершенно безвинными. Беспредел...

— Хуже, когда замучаешь до смерти, много на покойника бумаг составлять надо,— подытожил Пospelов.— Попадались, однако, дружные и сплоченные. Станем бить, а остальные начнут как по команде вагон раскачивать, да так раскачают, что приходилось кончать «работу» и пить давать, и в туалет водить. Но таких приходилось мало. Оглушать зэка надо сразу, как только он выскакивает из воронка. Несколько голосов кричат сразу: «Вперед, пошел, марш, бегом!» Конвой стоит меж вагоном и машиной живым сплошным коридором, не успеет зэк оглядеться, как его прикладом, кто под зад, кто в спину, кто по затылку, он в вагон, там то же самое. О побеге ему и подумать некогда.

Пospelов рассказывает о том, что его больше всего поразило однажды. К тому времени он считал себя еще молодым солдатом, не окончившим полковую школу (школу сержантов). В мужском лагере заключенных назревал бунт. Давно уже копилось недовольство. Постепенно зона разделилась на две части — активных и пассивных. Активную возглавлял польский полковник. После неудавшегося покушения на министра обороны Польши К. Рокоссовского немало поляков отбывали сроки в Коми АССР. Были среди них военные, священники, ксендзы, монахи и монашки. В лагере организовался подпольный комитет заключенных. Его решением полковнику бывшего Войска Польского присвоили звание генерала. Он встал во главе комитета. Заключенными был разработан конкретный план требований перед администрацией лагеря: 1) разрешить переписку и свидания с родственниками; 2) снять номера, нашитые на бушлатах; 3) ввести зачеты за хорошую работу; 4) улучшить питание и организовать продажу продуктов в зоне.

Вот такие основные требования, верные и справедливые, предъявили они начальнику лагеря. Как всегда, требования эти остались без удовлетворения, были грубо высмеяны и попраны. Комитет собрался снова и решил добиваться своего любой ценой. Не дремала и администрация лагеря. Стукачи регулярно оповещали кума. Была объявлена боевая готовность. Усилены посты на вышках, введены ночные подвижные посты с ракетницами. Часо-



вым выдали дополнительный боекомплект. Заключение на произвол общим невыходом на работу. Это стоило комитету больших усилий. Убедить всех трудно и сложно. Как и всюду, в коллективах есть пассивные. К ним примкнули и те, которым мало оставалось до конца срока. Прошло три дня. Заключение не сдавались. Прошло пять дней, комитет потребовал удовлетворения своей петиции. Администрация ответила угрозой и прекратила доставлять в зону продукты. По принципу социализма — кто не работает, тот не ест. Доведенные до отчаяния заключенные решились на непредсказуемый шаг. Объявили по лагерю: всем выходить из бараков и строиться у ворот зоны, у вахты.

Половина бараков не вышла. Полковник, произведенный в генералы, дает приказ зэкам забить двери этих бараков досками крест-накрест. У ворот зоны образовалась плотная спаянная колонна единомышленников, около тысячи человек. Зэки стояли, как того требовала лагерная инструкция, сцепившись, захватив друг друга плотно руками, согнутыми в локтях. Пока заключенные готовились и строились, не дремала и охрана. Начальник лагеря позвонил командиру дивизии — тот в полном боевом направлении к лагерю школу курсантов. На вышках торчали ручные пулеметы. В стороне от вахты и ворот сплошной стеной стояли автоматчики, и среди них мой будущий командир отделения Юрий Пospelов. Штаб комитета потребовал командира дивизии на переговоры. Тот приказал немедленно разойтись по баракам и добавил: «Я вам покажу переговоры».

Заключенные серой массой хлынули вперед. Выдавили, распахнули ворота из колючей проволоки и тихим шагом в мертвящей тишине, как бы выжидая чего-то, пошли от ворот. Он не помнил, кто дал команду «огонь», но зато хорошо запомнил, что ствол его ППШ перестал дергаться и лезть вверх. Он понял, что расстрелял весь диск, и помнил, как водил стволом в секторе своего обстрела. Дальше его поразило невероятное. В ушах стоял шум, а перед ним стояли заключенные. Как? Почему? Не успел он осмыслить, как все разом разрешилось. Серая стена нестройно рухнула. Они и мертвые стояли живыми.

Первые полегли, задние отхлынули в зону. Двести семьдесят человек остались лежать убитыми. Срочно прилетел из Москвы начальник ГУЛАГа генерал-лейтенант Долгих. Вместе с командиром дивизии устремился к лагерю. Там его уже ждал «генерал» от зэков. Он первый заговорил: «Мы вам гарантируем...» Долгих зло перебил

его: «Не вы мне будете гарантировать, а я вам буду диктовать!» Между двумя генералами начались успешные, конструктивные переговоры. Были трения, но в конце концов стороны подписали соглашение. Дорогой ценой, ценой многих жизней заключенные добились больших и важных уступок. Начальник ГУЛАГа отменил запрет на письма. Разрешил свидания, получение, пусть редких, посылок с воли, продажу необходимых товаров в зоне. Но был неуступчив с отменой номеров на спине зэков. Генерал от зэков с железной логикой убеждал Долгих: «Мы не в Освенциме, и вы не фашисты, у нас в зоне нет пока газовых камер и кремационных печей, и у вас нет фашистских символов на рукаве». Не убедил.

Зато действия начальника ГУЛАГа убедили зэков заглаживать свою «вину». Заключенных колоннами, под усиленным конвоем с собаками выдворяли из лагеря и уводили далеко в тундру. Уводят расстреливать... Параша, обрастая домыслами, пошла гулять по зоне. Надо спасти жизнь. Появилось письменное обращение зэков к Долгих. Это было ничем иным, как их покаянным обязательством перед властью. Заключенные, все без исключения, не выходившие на работу в течение восьми дней, обязались к концу месяца добыть весь плановый уголь, работая по полторы-две смены. Волнения и страхи зэков оказались напрасными. Их выводили из лагеря на короткое время для того, чтобы сделать генеральный шмон, обыск. Сыграл на публику и начальник ГУЛАГа. В присутствии делегации зэков командира дивизии, давшего приказ стрелять, разжаловали в рядовые. В искренность этого жеста мало кто поверил, но жест есть жест. Дорогá ложка к обеду. Потом я сам убедился в достоверности рассказа Поспелова, когда оказался в той самой школе сержантов в поселке Абезь, которую окончил он.

#### 4

Побег. Вой сирен. Это слово, как электричество. Оно парализует. Это что-то такое, чего не должно быть. Побег зэков считается служебным, солдатским, личным унижением нашего достоинства. Побег — это оскорбление каждого из нас. Так представляют дело все офицеры части. Они сами, кажется, перестают есть и спать. С озабоченностью на лицах, будто их постиг тяжкий траур, они мечутся по части. Кажется, они не переживут этого. Бегают инструкторы розыскных собак. В питомнике, исхо-

дя слюной, беснуются откормленные немецкие овчарки. Истощенный лай. Ажиотаж.

Побег, побег, побег... Все кончилось быстро, к обеду. Это можно определить по лицам офицеров. Они веселы и счастливы. Побег ликвидирован. Опергруппа преследования настигла беглецов примерно на одиннадцатом километре от лагеря.

Шестеро вконец обессиленных эков распластались на суховатых, обросших багульником и карликовыми березками кочках. Нестерпимо хотелось пить. В горле перехватывало, жгло сухостью. Напряжение спало. Тупое безразличие овладело ими. Каждому из них казалось, что все страшное позади, опасность миновала и что не одиннадцать километров отмахали они по топкому мху, проваливаясь по колено и застревая среди цепких корней кустарника, а все двадцать или двадцать пять. Так им представлялось. Остывали их разгоряченные тела, затвердевали мышцы. Дышать становилось легче, а вот шевельнуться, подняться, встать и идти дальше не хватало силы воли. Совершили они побег дерзко, под вышкой спящего часового. Была ночь. Но какова она, заполярная ночь? Светлая, как день! Промежуточные ночные посты не выставлялись ввиду хорошей видимости. Запас питания у каждого был припасен заранее. И вот он, час роковой судьбы настал. Часового на вышке не видно, он спит. Трехминутный сбор. Спички, соль, ножи, сухари, бинты, кружки, рогатки и маленькие грабельки. Впереди бывший армейский разведчик-власовец — ползет, вдавливаясь в землю, только вместо оружия у него деревянные палочки, раздвоенные на конце. Сейчас он за сапера... Заслышав храп часового, он успокаивается. Втыкает рогульку, приподнимает проволоку. Один ряд, второй, третий. Вот он уже переполз дощатые мостки, по которым ходят на посты часовые, посмотрел направо, откуда может появиться проверяющий караула. Нет, его не видно. Подползают остальные. Первому опасно, а последнему еще и страшно — вдруг проснется часовый. Однако хладнокровие не покидает его. Он снимает за собой рогульки, грабельками приводит предзонник в прежний вид. Рыхлит податливую землю, маскируя след. Наконец вышка со спящим часовым и зона остались позади. Теперь вперед — туда, где синеют грядой горы Уральского хребта. Они такие знакомые. Закроешь глаза и представляешь их, вытянувшихся цепочкой на юг. Они высоки. На склонах и летом белеет, лежит нетающий снег. Там, за горами, спасительная тайга. Еще никому из заключенных не

удавалось добраться до них. Может, этим выпадет такое счастье. Без надежды нет и смысла бежать. Мечты, мечты... Они такие обнадеживающие, когда смотришь на горы из зоны. Теперь же они ближе, чем когда-либо. Но нет сил встать, подняться на ноги, встряхнуть руками. Онемели, одеревенели суставы. Власовец встал первым и призывает подняться товарищей: «Вставайте же, гады! Усталость пройдет, как только разогреемся, а для этого надо двигаться. Я ухожу от вас».

На утренней проверке недосчитались шестерых зэков. Обшарили бараки. Побег. Тревога. Розыскная собака удачно, легко взяла след. Три оперативные группы с небольшими перерывами, не мешкая, бросились вдогонку. Тренированные рослые оперативники ринулись вслед, сокращая расстояние. Трое собаководов с наганами, увлекаемые вперед огромными, сильными овчарками, ушли далеко вперед. Собаки уже таявкают, повизгивая. Инструкторы-собаководы знают: беглецы близко. Стравливают, удлиняют ремни.

Власовец оглянулся, услышав яростный, с нападками лай собак. Всё! Это конец. От собак не уйти. Он отбросил нож, повернулся в сторону гор спиной и медленно пошел назад на этот лай. Ему навстречу неслась овчарка. За ней метрах в пятнадцати, держась за поводок, с наганом в руке, бежал собаковод.

— Руки, руки вверх, руки!

Власовец с поднятыми руками, не смея опустить их, защищался от собаки, поднимая то одну, то другую ногу в тяжелых ботинках.

— Фу, Рэкс, фу!

Двоих зэков, не выполнивших команду «встать», пристрелили. Под угрозой расстрела четверо зэков несли своих убитых товарищей назад в лагерь. На допросе заключенные рассказали историю побега. Уснувшего на посту часового военный трибунал приговорил к трем годам дисциплинарного батальона. Убитых в побеге зэков бросили у ворот. Сутки смотрели на них возвращавшиеся и уходявшие на работу отряды и бригады зэков. Пойманных в побеге зэков избивали. Если не до смерти, то добавляли им срок до первоначального.

## 5

Участвовавшим в поимке бежавших заключенных собаководам и оперативникам объявлена благодарность и

десять суток отпуска без дороги. Их подвиг широко освещается среди личного состава. Три дня нам в подробностях смакуют их правильные, заранее отработанные действия. Что значит закалка и тренировка бойца при поимке бежавшего преступника! Чекист всегда брал верх в схватке с врагом. Ему помогают в этом преданность социалистической Родине и советскому строю. Мы должны быть бдительны всегда в окружении врагов народа, не разговаривать с ними, кроме требований службы, не вступать ни в какой контакт.

Первый день в конвое. Вот он, мужской лагерь, в километре от нашей части. Зона окружена с трех сторон лесом, обставлена вышками. У ворот низкое строение. Это КП и вахта. У вахты на территории зоны деревянный домик свиданий. Бараки снаружи побелены известкой, из них целый городок. Они расположены ровными рядами, как зубья расчески. Начальник конвоя расставляет солдат по местам. Зэки выстраиваются за воротами в зоне. Наконец, ворота открываются. Начинается приемка зэков конвоем. Заключенных считают. С доской в руке, похожей на разделочную, — нарядчик зэк, рядом вольнонаемный вахтер из военизированной охраны от надзирателей и начальник конвоя. Заключенные выходят из ворот пятерками, по бригадам. За воротами их выстраивают в одну большую колонну, окруженную конвоем. Затем трое названных контролеров сверяют результат. Он у всех должен совпасть. Нет — пересчитывают снова. Затем начальник конвоя предупреждает о порядке следования в пути и дает команду: «Марш!»

По Уставу конвой выделяется из расчета на десять мужчин-зэков — один конвоир, выделяется также собаковод с розыскной собакой, он подчинен начальнику конвоя. Количество собаководов зависит от количества зэков в колонне и ландшафта местности. А также от количества заключенных, склонных к побегу. Начальнику конвоя выдают на вахте картотеку на каждого зэка. В ней фамилия зэка, обычно их много, статья или, чаще, целый букет статей, год рождения, его номер, срок и окончание срока. Если на карточке диагонально красная полоса, то это говорит о том, что заключенный ранее совершал побег. Если же синяя, то зэк склонен к побегу. У каждого заключенного на спине нашит белый прямоугольный лоскут, на котором черной несмываемой краской крупно написан его номер. Зэк, нарушивший правила следования, — разговаривал в пути, выпадал из строя, шел не в ногу, наклонился, пытался разговаривать с конвоем, — должен

быть наказан. Начальник конвоя или конвоир, заметив нарушителя, записывают его номер. Затем вечером, придя с работы, сдают его на вахту. Лагерное начальство решает, какого он заслуживает наказания: ШИЗО — штрафной изолятор, или БУР — барак усиленного режима, или карцер — бетонный холодный мешок. Нарушителя могут лишить очередного свидания, получения посылки, покупки продуктов в зоне (ларька).

Первый день в конвое действовал на меня удручающе. Колонну в 250 эков мы вели на общую производственную зону шахты номер 8-12. Вместо двадцати пяти человек конвоя с собаководом нас было всего девять человек. Четверо шли спереди и пятеро сзади, по сторонам ни одного. Дорога проходила рядом с караульным помещением. Оно от дороги в пяти метрах. Единственное препятствие — ветхий забор и полуоткрытые двустворчатые ворота. Пустой проем калитки и рядом низкая, убогая, покосившаяся вышка с часовым. Мне стало не по себе. Поравнявшись с караульным помещением, эки могут одним махом захватить его, не встретив вооруженного сопротивления. Нас — конвой — и часового на вышке им ничего не стоит захватить, убить или обезоружить. Но это им не нужно. Это их в данной ситуации не устраивает. Каждый раз я замечаю по их лицам, фигурам звериный порыв хищника перед броском на свою жертву. Но они сдерживают, убаюкивают в себе этот инстинкт. Шансов на свободу, при любом исходе, у них нет. Любой временный успех для них — авантюра, самоубийство.

Мы сдаем заключенных в рабочую зону. Процедура запуска проста. Здесь одни солдаты-краснопогонники. Они открывают ворота, запускают и быстро считают. На огороженной зоне шахты — терриконник, высокая пирамида отработанной горячей породы. Языки пламени сине-зеленого и оранжевого цвета террасами, словно огни рекламы, то гаснут, то вспыхивают вновь. К небу струятся тонкие, белые виты дыма. В зоне двух шахт много административных многоэтажных зданий, производственных мастерских. Немало вольных женщин и мужчин работают на шахте бухгалтерами, учетчиками, кладовщиками. Есть также взрывники, слесари, токари. А внизу, под землей, в забое — эки. Возвышаются три бункера, к ним — лента транспортера. В зоне — железнодорожная ветка, сюда к бункерам встают под погрузку эшелоны из вагонов и платформ. Для охраны зоны шахты и досмотра груза выделяется специальный конвой, с металлически-



ми щупами трехметровой длины и переносными фонарями. Третьи ворота в зоне предназначены для выхода вольных на склад за запалами и взрывчаткой.

День конвоя с мужчинами сменяется сутками караула, затем конвоем с женщинами. Самое тяжелое и опасное в нашей службе караул, неподвижные посты на вышках. Они у нас трехсменные, а для непокорных — двухсменные. На трехсменных стоят на вышке по четыре часа, затем бодрствование четыре часа в карауле, затем отдых и сон четыре часа. Потом все сначала. Двухсменный же пост — это уже тяжелейшее физическое, психическое и моральное испытание, вернее — истязание. На двухсменный пост назначают за нарушение службы в конвое: сидел на посту, двое конвойных собрались вместе у поста и разговаривали, отвлекались. Конвоируемые ими эки плохо шли в строю: не в ногу, переговаривались, не сцепившись друг с другом руками в локтях. И — за плохую политическую, служебную и боевую подготовку. Или что вслух выразил недовольство плохим питанием, жаловался на отсутствие личного времени, на запрет увольнений, на частую помывку полов и проверку личного и боевого имущества, на бесконечные нудные, ненужные построения, на отсутствие в карауле радио.

Двухсменный пост — это шестичасовое непрерывное стояние на месте, с самим собой наедине, порой в пятидесятиградусный мороз, с оружием в руках, имея на себе кальсоны, рубашку, гимнастерку и галифе х/б, ватные брюки и фуфайку, шинель и шапку-ушанку, шубу и поверх всего овчинный тулуп с высоким воротником. Вокруг усыпляющая, отупляющая тишина и два сектора обзора, вправо до поворота, влево до четвертого столба. Сутки, поделенные на двоих, двенадцать часов на посту, на ногах, на маленьком ограниченном участке, с тяжелыми угнетающими мыслями в голове, без единого шанса на просвет. Увольнения в город не положены. По Уставу определен четырехсменный пост, но вместо этого мы ходим на трехсменный и двухсменный. Кто, по какому праву отпустил нам в сутки всего полчаса свободного времени перед отбоем? Кто издал нелепый приказ такого содержания: начальник караула имеет право применить оружие к подчиненному, не выполнившему его приказание? Это значит: в карауле ты абсолютно бесправен, отдан во власть любому самодуру — офицеру или сержанту, который может достать наган или пистолет и убить тебя. Вот он в действии: «приказ начальника — закон для подчиненного». Сначала выполни приказ, а потом об-

жалуй его. А солдат не имеет права обратиться к вышестоящему начальнику, не испросив разрешения у нижестоящего, у того, кто обидел его. Круг замкнулся. Армия — тюрьма. Заключенные в большой мере правы, когда говорят: «Вы такие же, как и мы, только вы по одну сторону проволоки, а мы по другую». Зачем исполнять заведомо нелепый приказ, чтоб потом обжаловать, исправлять его?

В нашей роте и в моем взводе, кроме сержантов, имеются и солдаты, отслужившие по году-полтора и больше. Ефрейтор Михаил Кригер — москвич. В отсутствие командира взвода он проводит за него политзанятия. Это вызывает скрытую зависть сержантов и тупого помкомвзвода. Их унижают его начитанность и обширные географические познания. Он безошибочно назовет столицу каждой из шестнадцати союзных республик, если надо, то и автономных. По причине слабого здоровья он редко ходит в конвой, больше служит писарем в канцелярии. Как-то он пришел из конвоя, и к нему, уже после отбоя, подошел командир и приказал: «Ефрейтор Кригер, немедленно оденьтесь и с оружием отправляйтесь в караул!»

— Я же из конвоя пришел!

— Ну и что.

— А то, что я отдыхать должен, как по Уставу положено.

— В караульном помещении отдохнете.

— В духоте, на голых нарах? Спасибо! Если в карауле нужен человек, пошлите того, кто не был на службе.

— Я вам приказываю, встать!

— Я не поднимусь, вы нарушаете Устав.

Кригер отвернулся от командира отделения на другой бок и натянул на голову одеяло. Тот со злорадной ухмылкой устремился в канцелярию. Комроты капитана Минеева не было и Дзеженко не было. В канцелярии восседали помкомвзводы. Они только и ждали повода, чтоб расправиться с Кригером. Тотчас окружили его койку, один из них сдернул с него одеяло и заорал: «Встать!» И услышал в ответ: «Я не встану, я должен отдыхать». Они ринулись на него. Кто за руку, кто за ногу сдернули со второго яруса на пол. Раздетого потащили в канцелярию и там избili. Эта расправа потрясла не только Кригера, но и всех нас. У Михаила произошел паралич лица, ему скривило рот и щеку. Больше мы его не видели. Между тем наказание за это никто не понес. Я болезненно переживал это глумление над личностью, на-

верно, больше потому, что понимал — в подобной ситуации мог бы поступить, как Кригер.

Зато первый день конвоя с женщинами-зэчками выпал мне счастливым. Это не конвой с зэчками-мужчинами и не караул по охране шахты номер 8-12. Я попал в конвой с женской бригадой на сельскохозяйственные работы в парники. После завтрака — получение боевых патронов и развод. Утро кажется особенным, оно дышит чуть влажной свежестью и прохладой. Волнует новизна обстановки и скорое — таинственное для меня — общение с врагами народа, изменниками Родины.

Мой начальник конвоя — солдат, отслуживший год, уверенно пошел на вахту за картотекой на бригаду. За воротами в зоне стоят бригады. Одни многочисленные, другие маленькие. Нарядчица от зэчек, начальник конвоя, солдат, он же вахтер, дают команду «марш». Пятерки одна за другой, соблюдая дистанцию, выходят за ворота. У всех счет сошелся. Нас, конвоиров, трое. С карабином наперевес, в пятнадцати метрах впереди бригады, иду я. Чувствую на себе сверлящие взгляды зэчек. Им ведь тоже интересен новый конвой. С этого дня они будут изучать нас. Особенно сержантов, а также рядовых, которые назначаются начальниками конвоев. Они быстро раскусят нас, норы каждого, характер, привычки и склонности, слабые и сильные стороны. Для них важно: солдафон ты, уставник, любитель помотать нервы или совестливый, добрый, не способный на подлость человек. Знать это им жизненно необходимо, ведь долгие годы, много-много дней, мы будем вместе.

За Интой, в сельхозе, куда мы пришли, в парниках не оказалось семян. Бригадир и начальник конвоя договорились отправить за ними на старые теплицы одну из зэчек, самую молодую, и одного конвоира. Начальник конвоя ставит мне боевую задачу — отконвоировать зэчку туда и обратно. Дорогу она знает. Теплицы за три километра. Как только мы отошли на приличное расстояние, я заговорил первым. Я не мог удержаться от переполнявших меня чувств. Какой-то романтический порыв захлестнул меня. Мне казалось, что я капрал-гвардеец, а она Кармен. Душа моя летала. Зэчка это почувствовала и несколько раз, застенчиво, стыдливо обернувшись, посмотрела на меня.

— Нам далеко еще идти? — спросил я.

— Далеко.

Девушка преисполнилась доверия ко мне. Но вдруг — горькая реальность — я опомнился, и мне стало не по себе. Нелепо вести девушку, держа карабин. Я закинул его на плечо и, краснея, приблизился к ней. Она виновато, но дружелюбно сказала:

— Так близко ко мне нельзя, это нарушение.

Приотстав, я продолжал разговор:

— Ты откуда родом?

— С Западной Украины.

— А сколько дали лет?

— Десять.

— Много еще осталось?

— Полсрока.

— А за что 58-ю дали?

— Антисоветская деятельность.

— А что ты сделала?

— Листовки расклеивала. Взрослые давали и посылали нас, а мы, школьники, разносили и расклеивали.

— В городе?

— Нет, мы в поселке жили.

— Сколько тебе было лет?

— Двенадцать.

— И всех вас посадили?

— Да, всех. Взяли даже тех, кто и не расклеивал. Нас таких много было, целый лагерь малолетков. Кому исполнилось шестнадцать, переводили во взрослый.

— А где лучше находиться: в зоне или работать за зоной на общих работах?

— Есть избранные и продажные, так им лучше в лагере. Они и живут в отдельном бараке. А по мне, лучше ходить за зону, видеть больше, вольных людей наблюдать, так разнообразнее.

— А ты могла бы стать избранной?

— Нет, я не продажная.

— А что делают продажные? Доносят на вас?

— Нет, главная их работа не стучать, а развлекать начальника лагеря, его помощника и других.

— Чем развлекать — танцами, пением, фокусами?

Она удивилась моей наивности и, стыдясь, сказала:

— Провести с ними ночь. Если бы я захотела, то наверняка стала бы избранной. Он не отстал бы от меня, в отдельном бараке почти все малолетки. Несколько раз он вызывал меня к себе в кабинет, цеплялся, обещал хорошую, легкую жизнь, досрочное освобождение, да я не сдалась и не поддавалась на их уговоры.

— Правильно делаешь, — выпалил я.

Сказал это я от души, искренне и по ее взгляду понял, она мне верит. Мы подходим к теплицам, там могут быть офицеры, надо взять карабин на изготовку, но я стесняюсь это сделать. Она сама выручила меня. «Начальник, возьми в руки карабин». Назад мы возвращаемся втроем, с нами идет инструктор-собаковод с собакой. Мой романтический пыл развеялся, уступив место гадливому чувству унижения. Впереди шла восемнадцатилетняя девушка, а за ней солдат с оружием и собаковод с наганом на боку и с овчаркой на поводу...

В мужском лагере творится что-то чудовищное. Вот уже который день в то самое время, когда конвой подходит к вахте, зэк выносит навстречу отрубленную голову зэка. Не доходя несколько метров до ворот, он бросает ее на дорогу. Одно дело, когда об этом рассказывают вернувшиеся из конвоя товарищи, и совсем другое, когда увидишь это сам. Зрелище жуткое и потрясающее. Зэк нес к нам остриженную, седоватую голову, держа ее перед собой за уши. Поднес ее к самой вахте и не бросил, как прежде, а несколько минут демонстрировал ее.

Утром, в обед и вечером мы отводили зэков из жилой зоны на рабочую шахту 8-12. Там у ворот поджидали ночную смену для конвоирования в лагерь. Не успевали оправиться от шока, как тут же, через короткий перерыв, получали новый психологический удар. Обычно шестеро зэков в хвосте колонны несли убитого, отвергнутого ими. Четверо за руки и за ноги, двое по бокам за полы робы или бушлата. Под предлогом несчастного случая убивали неугодных, стукачей, просучившихся, проигравших себя и свою душу в карты. На лесоповале по-другому. Убивали, а следы прятали так: несколько зэков приподнимали комель сваленного дерева, а другие подсовывали под него убитого. Кто там будет разбираться, спишут, сактируют, и все тут...

Вечером на инструктаже лейтенант-особист первого отдела Дурдадымов — лицо тупое, холодное, во всем обличье угадывается бычья натура костолома-палача — запугивал нас: «Я вам нарисую психологию зэка. Она у них у всех одинаковая. Идут ли они, едят или даже спят, но мысль у них всегда одна — убить вас, овладеть вашим оружием и бежать. Конечно, убить они могут вас только в том случае, когда вы ослабите свою революционную бдительность, требовательность к себе и к заключенным, которую мы ежедневно требуем от вас. Бежать

мы им, конечно, не дадим, от нас еще никто не убегал. Беглецов мы уничтожим. У нас надежно днем и ночью перекрыты все тропы, по которым можно уйти. Враги народа применяют все и всякие любые средства, чтоб разложить вас, они идут на самые изощренные действия. Для чего, вы думаете, они показывали вам отрубленные головы? Я вам отвечу: чтоб нарушить вашу психику, вызвать у вас душевное расстройство, сделать вас вялыми, безвольными, мягкими, податливыми. Только для того, чтоб купить конвой. Но чекист должен быть чекистом всегда, везде, не только на посту, в конвое, в карауле, но и тогда, когда он бодрствует. Я вам расскажу случай о бдительности чекиста старшины-сверхсрочника из нашей славной краснознаменной дивизии. Поехал старшина в краткосрочный отпуск в Москву. Идет он, как и все счастливые советские люди, по тротуару. В одной руке коробка с покупкой, в другой — другая покупка. Кажется, чего бы ему? Иди и радуйся. Ан нет, чекист всегда им остается. Впереди него идут два офицера, тоже краснопогонники. Форма на них новая, с иголочки. Все ладно, но опытный старшина подметил, что разрез у их шинелей выше нормы и пуговиц нашито чаще и больше, чем положено. Да и хлястик ниже нашего расположен, и раскрой его не наш, закругление не такого овала. Простому смертному невдомек, а чекист заметил. В нужном месте и вовремя поднял тревогу, задержал их. А кого, вы думаете? Двух опытных матерых английских шпионов! Конечно, получил за это награду Родины и внесен навечно в список героев части». Лейтенант Дурдадымов положил конспект в папку и связал ее тесемкой. На папке крупно: «Дело» номер такой-то...

Капитан Минеев, розовощекий, с выпяченной, даже несколько вывернутой нижней губой, что означало — принял дозу, обратился к стоявшим и сидевшим солдатам: «Лекция всем понятна, пынтели?»

— Так точно! — рявкнула рота.

Из-за спины ротного выступил на шаг вперед замполит Дзеженко: «От лица военнослужащих слово имеет рядовой Алексеев».

Блокнот в руке старшего лейтенанта подозрительно дрожал. Высоченный правофланговый Алексеев Алексей без команды вышел на середину и, торопясь, чтоб не забыть заученный текст, громко, с псковским говором выпалил: «Я обязуюсь нясти службу, как учут мяня наши уставы и наставления и наши командиры, я призываю всех присоединиться к моему голосу».



Рота молчала. Капитан Минеев, не доверяя замполиту, разрядил обстановку: «Товарищи! Я надеюсь, вы все присоединяетесь к призыву рядового Алексеева, пын-тили?»

— Так точно, товарищ капитан!

С Алексеевым я был в одном отделении. Как-то за чисткой оружия он рассказывал своему земляку Николу о своей женитьбе. Доверившуюся девушку, с которой он дружил, обещая на ней жениться, обесчестил до времени. Бахвалился перед Николовым, но так, чтоб его слышали все: как, добившись своего, ломался перед ней, капризничал, унижал, терзал жестоко, нарочно ухаживал за другими. А у девушки рос животик. Мать ее с удивительной настойчивостью вела переговоры с его матерью. Что, дескать, они пара, что он первый красавец в округе: высок, строен, красив и не глуп. Да и она пара ему: лучшая девушка во всем Дедовичском районе. В конце концов все разрешилось благополучно, по-хорошему.

А мне из всего рассказа запомнилось вот что. Вдоволь покуражившись над ней, он решил расписаться. Наступил счастливый для невесты день. «Вышли из сельсовета, в котором нас записали, отошли в сторону от крыльца, Нина как обхватила меня руками, как столоб, и говорит: „Ах, Лешенька, теперь-то ты мой“».

Осенью я уехал в полковую школу. Через полгода вернулся в свою роту, в свой взвод младшим сержантом и стал командиром своего же отделения. Алексеев был моим подчиненным. У меня было «отличное отделение» (было такое звание) по всем показателям, особенно по боевой стрельбе и служебной подготовке. Алексеев был исполнительный солдат; но не за совесть, а за страх. Пока я учился, он часто назначался начальником конвоя. Приносил «трафеи» капитану Минееву в виде водки, спирта, коньяка. Тот, естественно, заносил в личное дело Алексеева многочисленные благодарности. Потом уже, через два года, когда не стало капитана Минеева, Алексева за усердие направили в ускоренную полковую школу. Карьера его была стремительной. Меньше чем за год он стал старшиной. В отсутствие офицеров он был за командира роты.

В конце службы уже я подчинялся ему. Я присматривался к нему и видел, что у этого скобара нет никаких моральных, этических и нравственных устоев. Вернее, они были у него от природы, но он не развивал их в себе, не совершенствовал, а гасил, сообразуясь с требова-

ниями обстановки. Меня он старался не замечать, делал вид, будто мы не знакомы. Смотрел на строй солдат отвлеченным взглядом, не в глаза, а поверх голов, куда-то в пустоту. Команду подавал суетливо, как бы впопыхах: «Рота, стройся, равняйся, смирно!» — и спешил доложить комроты.

Перед демобилизацией личный состав как обычно выстраивали с вещмешками у штаба дивизиона. Начиналась унижительная проверка личного имущества. У некоторых обнаруживали ранее украденные вещи. Командир дивизиона майор Соболев, обходя шеренги, подошел к старшине роты Алексееву и спросил: «А где ваш сидор?»

— У меня нет его, товарищ майор.

— Как это, у старшины чтоб не было? Старший сержант, приказываю проверить каптерку старшины.

Тот принес два туго набитых вещмешка.

— Старшина, выйдите на середину и выкладывайте, что вы там накопили.

Алексеев развязал мешок, разжал горловину и вялыми, ватными движениями стал выкладывать новые простыни.

— Старший сержант, помогите ему освободить второй.

Во втором было новое нательное белье, кальсоны с завязками и рубахи.

— А ведь мы вам, старшина, дали блестящую характеристику-рекомендацию для поступления в органы милиции...

Посреди нашей воинской части проходит железнодорожная ветка. В течение дня юркий паровоз частенько пробегает туда-сюда, таща за собой по пять-шесть вагонов. Выскакивает он из-за поворота, не сбавляя скорости, лишь резко оповещая свое появление свистком. И вот еще одна гибель солдата, нелепая и глупая. Семь лет службы позади и два дня до демобилизации. На переезде заглох мотор старенького «газона». На путях оставалась только треть кузова. Солдат заметил набегавший паровоз и выскочил из кабины. О чем он подумал? Может, о том, что втолковывали ему на протяжении многих лет: сам погибай, а технику спасай. Возможно, побоялся ответственности. Снова залез в кабину и впопыхах попытался завести машину. Больше выпрыгнуть из кабины ему не удалось. Паровоз подхватил ее, смял и несколько раз перевернул...

Отсечение голов зэками в зоне прекратилось. На этот счет вышел указ начальника ГУЛАГа. Суть его такова: совершивший убийство сам подлежит убийству. Смерть за смерть.

Это возымело действие. Теперь мы знаем, кого убивали и за что. Участь эта постигала поваров — за воровство, за нежелание вступать в сговор, вернее, за макли, то есть сделки.

Я не могу избавиться от навязчивого чувства незащищенности. Особенно когда в карауле, и еще — когда елышу, как гудит за стеной земля под ногами сотен зэков. Они мерно удаляются, шаги затихают, а я представляю, как они, поравнявшись с караулкой, бросаются на нас, снимают бодрствующих, расхватывают оружие из пирамиды. В караульном помещении на окнах решетки. Не выскочишь, не убежишь. Придя с железнодорожного поста, я не сдаю наган. Сплю с ним или кладу под голову, прикрыв фуфайкой. В случае нападения буду отстреливаться до конца. Ночью, в казарме, вижу, как дремлет часовой у входа. Представляю, как легко его можно снять. Всех сонных прикончить ножами. Идя сзади в конвое, забывшись, мы иногда приближаемся к колонне зэков на пять-шесть метров. Им достаточно внезапно, резко развернуться и, кинувшись на конвой, разоружить нас. Не успеешь даже отвести затвор автомата или карабина. Случается, и зэки, нарочно прибавив шаг, приближаются преступно близко к бесечно идущему впереди конвою — как бы испытывая его бдительность. Подойдут метров на пять, потом сами разрывают дистанцию до положенных пятнадцати метров.

Ощущение постоянной опасности преследует меня и давит на психику. Мне стали сниться кошмары. Однажды ночью на нашу казарму напали зэки, серой массой, разъяренные, с ножами в руках, они резали и кололи нас, спящих. Их много, и они все вливаются в проем двери. Путь к спасению один — выпрыгнуть в окно. Я очнулся от звона разбитого стекла, вернее — проснулся. Осколок стекла, узкий как штык, торчал в мякоти правой руки. Я вынул его, зажал рану и, пораженный, огляделся. Передо мной был длинный ряд коек с проходами между ними. Я стоял в проходе у окна, где спал помкомвзвода. Значит, я лунатик. Во сне я умудрился, не споткнувшись ни об одну кровать, никого не разбудив, дойти до окна и врезаться в стекло. Звон разбитого, падающего на пол стекла многих поднял на ноги. Меня, окровавленного, отвели в санчасть. Там перевязали и в

сопровождении дежурного отправили в Инту, к военному психиатру.

Врач, довольно пожилая женщина с демоническим лицом и черными, как у гипнотизера, глазами огненно-колюче заглядывала глубоко мне в душу.

— Все, можете идти и держите себя в руках, не распускайтесь.

Дежурный встретил меня с вопросом: «Ну что, нормалек, все дома?» — и повертел пальцем у виска.

— Дома. Только, говорит, надо их в руках держать и не распускать.

— Если ты про нервишки, то тут ты правильно говоришь, я с тобой согласен.

Нас, особенно сержантов, проверяют на верность и преданность присяге. Каждого по-своему. К нам в помещение караула, как правило утром, вдруг приводили, якобы для ремонта помещения, бригаду маляров-зэчек. Их конвой умышленно оставался на улице, давая им свободу действий среди личного состава караула. В бригаде зэчек-маляров все как на подбор молодые и смазливые. Выбирая момент, они навязчиво, почти нагло суют заранее написанные письма в конвертах тому или иному сержанту или рядовому с просьбой отправить, опустить в почтовый ящик. Чаще всего мы брали эти крапленые конверты. Иногда брал и я. Но не опускал и оперу, или начальнику караула, или комроты не отдавал. Не читая и не вскрывая, бросал в печь.

Для заключенного как мужского, так и женского лагеря отправить нелегальное письмо не составляло большого труда. У них для этого было много каналов. Например — передать вольному прорабу или условно освобожденному, который вхож в зону или на рабочий объект. Их не обыскивали. Второй способ — покупка зэками конвоя. Умышленно один и тот же конвой в том же составе до пяти раз водит и охраняет одну и ту же бригаду. Сближение, сживание конвоя с зэками неизбежно. Они дают деньги тому, кто вызывает у них доверие, а чаще, по заданию опера, конкретному солдату. Купил и передал, хотя бы мелочь, — это уже измена Родине.

Ну а самый распространенный метод — это вскрытие писем военнослужащих. Это более чем цензура. По содержанию писем делают определенные выводы о том или ином солдате или сержанте, о степени его преданности и моральной устойчивости.

Завтра командиры отделений из старослужащих заканчивают службу. Демобилизуется и Пospelов. Сержанты нового выпуска уже прибыли в часть и распределены по ротам. Вечером, когда офицеры покинули казарму, они уселись все вместе в отдаленном углу и отметили два события. Отъезд и новое назначение. Пospelов, будучи навеселе, преподносил молодым уроки садизма. Рассказывал громко, чтоб его слышали и мы.

«Раньше, года три назад, здесь было все по-другому. Мужского и женского лагеря не было. Был один. Сидели все вместе — мужчины с женщинами. Вот тогда здесь творилось такое, что вам и во сне не снилось. Лагерь был похож на загон, в котором были волки и овцы. Дня не проходило без ЧП в лагере. Первыми не выдерживали, вешались и сходили с ума женщины, но зато какие! Самые идейные, самые интеллигентные, чистенькие, как барыни. А самых щепетильных пускали по рукам под сплав. Хором, гамузом, человек по двадцать — тридцать. Потом тащили к шурфу и бросали в ствол-колодез. На дно шахты падал мешок с костями. Были в лагере среди зэков вожаки, точно у зверей в стаде. Верх держал Догадайло, двухметровый бандеровец, головорез, со сроком двадцать пять лет. Догадайло, хохму покажи, — кричим мы ему, — пропеллер и мельницу. Другие просят: покажи, как резьбу нарезают. В лагере у него был гарем. А для циркового номера, для показа нам, у него была ассистентка, балерина из бывшего настоящего театра. Нет, вы не смейтесь, я на полном серьезе. Настоящая балерина, танцовщица из театра, ей пятнадцать лет намотали. Она весила, как перо. Он выносил ее из барака обнаженную и показывал нам, как нарезают резьбу. Массовые самоубийства и сумасшествия политических заключенных-женщин заставили лагерное руководство перегородить зону на две части. Сначала просто в один ряд колючей проволоки. Но и после этого меж ними происходили половые сношения. Не нарушая запрета, не перелезая колючки, сношались через проволоку, не стыдясь нас, часовых на вышках. Продолжалось такое до тех пор, пока не построили мужской лагерь».

Не удержался Пospelов, еще раз вспомнил про издевательства над зэками во время конвоирования по железной дороге: «Когда выводили заключенных из «столыпина», положено сажать их на землю. Часто, бывает, в грязь или в воду. Есть среди них хитрецы, присядут низ-

ко на корточки и рады. Подойдешь к такому, прикладом огреешь или ногой двинешь в спину. А то, для смеха, собаковод с собакой натравим. Подойдет он к такому сзади и даст команду: „Взять!“ — Сразу все падают на зады».

Позже я сам из первых уст услышал правду о совместном лагере. Как-то в конвое из любопытства я перечитывал картотеку на зэчек и обратил внимание, что одна из них скоро освобождается. Попросил бригадира, чтоб она принесла мне в костер дров. «Расскажите мне, как вам и другим сиделось вместе с мужчинами?»

— Мне, начальник, очень хорошо. У меня был один сильный защитник. Он оберегал меня от других. Я жила с ним, как с мужем. Большинство из нас не хотели разъединяться.

— А меньшинство?

— Я бы не хотела вспоминать об этом, мне хочется навсегда забыть этот кошмар. Нет, не кошмар и содом, это не те слова — ад, ад! Нам, безнравственным, легче, мы теряли честь, человеческое достоинство, от совести у нас откололи большой кусок. Я не пойму, начальник, этих сидящих за идейные убеждения, они ничего не сделали дурного или запретного, вина их только в том, что они думают иначе, по-другому. У нас в лагере есть монашки с воли, так вот эти политические чище и благороднее «слуг господних». Монашки ходили по рукам, стали ручными, ни одна из них не наложила, как политические, на себя руки, ни одну из них не сбросили в шурф. Что, начальник, могли сделать те и другие, когда нет человеку защиты...

— Спасибо за дрова, — сказал я ей. — Поздравляю вас, вы скоро освобождаетесь.

— Да, десять лет пролетело. Освобождение без права выезда — куцая, но все-таки воля.

В роте повзводные собрания. Офицеры агитируют за стопроцентную подписку на сталинский заем восстановления и развития народного хозяйства. Уже есть сагитированные: тот же Алексеев тянет руку, просит старшего лейтенанта Аксентьева дать ему выступить. Громко и торопливо, холуяствуя и показушничая, он просит подписать его на все сто процентов. Его поддерживают рядовые Янковский, Печеницын, Романов. Больше последователей нет. Наступает пауза. Меня же охватывает неистовое чувство протеста, ясно осознанное и праведное. Это же бесчеловечно, аморально, кощунственно и глубоко-



ко безнравственно агитировать за то, чтоб солдат отдал свои гроши, свое мизерное жалованье, все до копейки. Это значит — в течение года не получать даже рубля, не иметь возможности купить зубную щетку и порошок, нитки, иголку, тетрадь, карандаш или авторучку, чтоб написать письмо.

— Товарищи! Есть еще желающие подписаться на сто процентов? — обратился к нам комвзвода. — Напоминаю, если потребуется нитка или иголка, вы их сможете взять у старшины.

Скрывая гнев и возмущение, я как можно спокойнее обрушился не на сталинский заем и не на саму кампанию по подписке, понимая, что повлечет это за собой, а на подписавшихся «патриотов»: «Я вас хочу спросить, подписавшиеся, знаете ли вы, зачем рядовому солдату дают в месяц тридцать рублей? Вы забыли? Я вам напомню, для чего. Прежде всего, чтоб вы чистили зубы. Не ходили бы и не кланчили бумаги на письмо, одним словом, не лазили по чужим тумбочкам, не унижались до такой степени. У вас нечем будет заплатить даже за фотографию, которую вы захотите, как и все, послать домой...»

После моего выступления патриотический пыл угас, но мы все равно «дружно», все до одного, подписались кто на пятьдесят, кто на тридцать процентов. Командиры отделений и помкомвзводы давили на солдат другим способом. Посмеивались: «Кто не подпишется, пойдет на двухсменку, на Галину Федоровну». Такая агитация подействовала, подписка охватила всех. Галиной Федоровной солдаты окрестили самую высокую на зоне вышку в честь самой высокой женщины из вольных, работающей на шахте.

Заем, как и колхоз, дело добровольное, но обязательное. Попробуй не подпишись на него... Помню кошмарный энтузиазм на производстве. Это плач и вопли многодетных, доведенных до отчаяния вдов. Бессовестное, бесчеловечное ограбление сирот, юношей и девушек, вышедших из школ ФЗО и РУ и получавших мизерную зарплату. Это горестные вздохи одиноких стариков и старушек, инвалидов только что закончившейся войны. Не щадили никого. Кто был неуступчив, не подписывался на месячную зарплату, тех в буквальном смысле травили, навешивали ярлык антисоветчика, не давали работы по три дня и больше, покуда не сломят. Зато в газетах и по радио торжественно объявят: кампания по подписке прошла с духовным подъемом, с невиданным энтузиаз-

мом всех советских людей. На самом же деле это — бюрократический и шовинистский диктат. Попраание любых, даже самых малых, демократических прав и свобод. Одновременно превозносится наша социалистическая демократия: свобода выражения волеизъявления народа как на выборах, так и в печати. Неуклонное повышение благосостояния советских людей и продвижение нашего общества к коммунизму. Улучшение условий труда. Расширение соцсоревнования, которое буквально захлестнуло все виды нашей трудовой деятельности. Строительство для рабочих профилакториев, санаториев, домов отдыха. Самые лучшие условия труда в мире — в СССР. Это результат ежедневной заботы партии и правительства и лично нашего гениального вождя товарища Сталина. За рубежом, на Западе, рабочие заживо гниют, умирают с голоду, их засыпает в шахтах, они отравляются на вредных производствах, получают увечья. Их разнузданная пропаганда калечит рабочие души. Капиталисты в погоне за прибылью, как заметил К. Маркс и указал гениальный вождь всех народов товарищ Сталин, выжимают из рабочих все соки. Но они с надеждой смотрят на СССР, светоч для всего мира.

...На нашей шахте номер 8-12 — обвал. Погибло тридцать два человека зэков и четверо вольных. Старший лейтенант Дзеженко уверяет меня, что такой катастрофы в шахтах СССР не было с 1928 года. А я жду, не появится ли в местной шахтерской печати некролог или что-либо о трагедии. Нет, все прошло незамеченным, ни слова о погибших шахтерах, о причинах, вызвавших обвал. Я делаю для себя еще один принципиальный страшный вывод. Печать наша твердо стоит на страже замалчивания недостатков, скрывает от своего народа правду, приукрашивает действительность, делает все возможное для одурачивания масс. Как бы для сравнения и в назидаение, буквально неделю назад в Бельгии произошла авария на шахте. Засыпало четверых шахтеров, двоих не удалось спасти. Три дня наше радио талдычило советским людям о каторжном труде в капиталистическом мире, о плохой охране труда шахтеров, о продажности профсоюзных боссов. Наши же профсоюзы — это подлинная школа коммунизма.

Будучи начальником караула, старший лейтенант Дзеженко зовет меня к себе сыграть в шахматы. Конечно, когда я бодрствую. Кроме меня, среди солдат и офицеров составить ему серьезную конкуренцию некому. Мы все больше проникаемся уважением друг к другу. Я

вскользь упомянул о наших предвзятых радиопередачах, направленных на одурачивание советских людей.

— Об этом лучше не говорить, — обронил он.

От вольных шахтеров я узнаю о причине обвала. Зэк пронес с собой в шахту спички и курево. Скопившийся в штреке газ метан, как только чиркнула спичка, — взорвался. Потом уже я, часто наблюдая за работой заключенных, замечал: они не жалеют себя. Стоя по пояс в ледяной воде, подымали на сваи бревна, вбивали скобы.

— Вы же можете смертельно простудиться, — как-то заметил им я.

— Начальник, скорей бы, жизни такой не жаль.

За рекой Интой, ближе к сельхозу, в гравийном карьере зэчки грузили лопатами гравий на самосвалы. Выбирая его, прорыли в обрывистом берегу нишу, похожую на грот. Рыли до той поры, пока свод не обрушился и не похоронил их.

От старшего лейтенанта Дзеженко узнал, что готовится набор в полковую школу, но что он лично к отбору людей отношения не имеет и что направляют только комсомольцев. Ждать больше нечего — меня не направят, я не комсомолец. Решаю идти к командиру дивизиона. После конвоя выбрал паузу, и вот я в штабе. Прошу зачислить меня в курсанты. Привилегии и преимущества сержантов перед рядовыми огромны. Сержанты не стоят на вышках, они, как правило, разводящие в карауле и начальники в конвое. В карауле у них больше возможностей отдохнуть — у них своя комната с более свежим воздухом. И жалованье почти в два раза больше. Вышло распоряжение ГУЛАГа перевести нас в управление военизированной охраны. Все осталось как прежде, прибавили лишь жалованье. Рядовой стал получать 23 рубля, сержант командир отделения — 40 руб., помкомвзвода — 50 руб., старшина — 70 рублей. Делалось это для видимого сокращения неимоверно разбухших войск МВД. Берия хитрил.

В Инте в городском гарнизоне на ТЭЦ работают зэки-бытовики, попросту уголовники. Режим содержания их значительно мягче, и охраняют их не краснопогонники, а синепогонники. Вот они-то и есть военизированная охрана. Придя с поста, они свободны. Имеют право переодеться в гражданскую одежду и идти куда угодно по своим надобностям. Мы же не имеем права даже сходить сфотографироваться. В личное время младший сержант Мит-

калов принес из каптерки чемодан, разложил его на полу, откинул крышку, сплошь оклеенную картинками из журналов, с зеркальцем посредине, и стал перебирать содержимое. Из-под запасных портянок достал новенькие погоны, но уже с тремя лычками. Положил на плечо погон сержанта, покрасовался в зеркало, передернул губами, подмигнул сам себе, вероятно, представляя, как покажется он дивчине в новом звании, которое, правда, ему еще не присвоено. Но это будет, обязательно будет, он его заслужит.

— Во, хохол, а?! Уже сержантские погоны примеряет,— услышал он от проходившего мимо помкомвзвода.

— Плохой тот солдат, который не мечтает стать генералом. Правильно я говорю, товарищ Миткалов? — поддержал старший лейтенант Дзеженко.

— Так точно, товарищ старший лейтенант! Нам еще до вас, до того, как вы к нам прибыли, в клубе лекцию читали про полководцев разных и маршалов. Так, кажись, Наполеон казал, что каждый солдат нося в своем ранце жезлу маршала.

— С одной стороны, товарищ Миткалов, это так, можно носить жезл теоретически, а с другой... — Дзеженко шумно втянул носом воздух, сделал серьезное, задумчивое лицо и, не сказав больше ничего, направился в канцелярию.

Дзеженко сорок один год, а он всего-то — старший лейтенант. Звания в войсках МВД даются вовсе не за хорошую, честную службу, а за что-то другое... За что? Об этом лучше не думать. У него миловидная, застенчивая жена, такая же, как и он сам. И три дочурки, старшей не более тринадцати лет. Жена его нигде не работает, потому материально им трудно. В карауле он столовается за счет нас, ест и побрякивает, стучит зубами о ложку. Замечаю, что он испытывает неловкость и угрызения совести.

Миткалов готовится в отпуск, ждет приказа по части. Семь суток без дороги. Поощрен за отличную службу. «Берите пример с Миткалова!» — звучит призыв командиров на каждом инструктаже. Да, он отличен от всех. Никто, кроме него, не предупреждает женщин о правилах в пути следования — стыдно. Миткалов же у ворот вахты, особенно в присутствии дежурного по части, громко чеканит: «Внимание! В пути следования идти не растягиваться, не разговаривать, шаг вправо, шаг влево считая побегом, оружие применяю без предупреждения. Марш!»

Бывает, что после его команды «марш!» женщины дружно, как-то по-особенному ехидно хихикнут. Тут же следует рыкающая команда Миткалова: «Приставить ногу. Бригадир, выйти из строя! Вы улыбайтесь не мне, а вот этому столбу! Повернись спиной! — Миткалов записывает номер. — Поговорим вечером на вахте!»

Ежедневно нам внушают, что мы чекисты, а потому должны строго соблюдать революционную законность, быть справедливыми, не унижать человеческого достоинства заключенных. Это на словах. На деле же ставят в пример тех, кто садистски, изощренно издевается над ними.

Лето в Заполярье жаркое. Солнце стоит в зените прямо над головой. Тот день был знойный и душный. Собирался дождь. Миткалов встретился мне на окружной дороге. Он вел в зону бригаду самых престарелых, со слабым здоровьем зэчек. Они работали в теплицах сельхоза, в четырех километрах от лагеря. Шли они в жару, не снимая бушлатов (не положено), усталые, тихим шагом. Конвой шел без плащей. Видя надвигавшуюся лиловую тучу, Миткалов заторопил их. Не хотел вымокнуть. «Шире шаг!» — скомандовал он. Но бригада старушек сделала лишь едва заметное усилие, чтобы идти быстрее. Закрапал дождь. До зоны оставалось меньше километра.

— Шире шаг! — входя в раж, заорал Миткалов.

Его крик приглушался уже хлеставшим вовсю ливнем. Сгорбившись, старушки плотнее прижались друг к дружке. Они были рады дождю, принесшему прохладу.

— Бе-гом! Бе-гом, марш! — кричал и бесновался начальник конвоя.

В ямках на дороге образовались лужи. До зэчек, шедших спокойно, размеренно и тихо, как будто не долетала его команда. Неповиновение ему, Миткалову, самому грозному начальнику конвоя! Это взбесило его, вывело из равновесия. Он потерял контроль над своими действиями. Сорвал с плеча автомат, отвел затвор и дал очередь поверх голов. Зэчки расцепили руки.

— Бе-гом! — и еще одна прерывистая очередь.

Поддействовало. Зэчки, распрямляясь, побежали. Некоторые как-то безвольно запрокидывали назад головы, другие хватались за грудь, за сердце, многим перехватило горло. Самые слабые стали со стоном падать, другие отставать. Люди растянулись. «Приставить ногу!» — заорал Миткалов. Бригада остановилась. Шестеро самых слабых лежали посреди дороги. Двоих, лежавших ничком

и не подававших признаков жизни, перевернули на спину. Дождь хлестал им в лицо. Одна из них была еще жива, она заметно шевельнула губами и тихо простонала.

Впереди, по дороге, с собаками на поводках, бежала навстречу недремлющая опергруппа. Рослые собаководы неслись по лужам, разбрызгивая в стороны воду.

— Начальник конвоя, почему стреляли? Что у вас произошло? Эти, что, убитые?

— Нет, не убитые, я стрелял поверх голов, в воздух.

— Выходит, из ничего панику подняли, шуму понаделали. Командуйте дальше.

— Встать! — скомандовал Миткалов.

Но никто из лежавших не поднялся.

— Бригадир, поднять людей, взять под руки!

Измученные, загнанные зэчки не подчинились.

Бригадир заявила: «Нам их не унести. Нужны носилки». Опергруппа отправилась за носилками. Когда носилки принесли, две зэчки уже встали. Четверых унесли в зону, две из них скончались. Миткалов за хорошую службу побывал в отпуске, но погоны сержанта поносил только дома, здесь они ему негодились.

Зэчки его купили и продали. Провала его ждала и хотела вся зона. И они придумали. Учили все слабости, все привычки этого тупого, чванливого солдафона.

Среди трех с половиной тысяч зэчек в лагере были разные в прошлом люди. Были здесь жены послов, посланников, консулов, генералов, директоров, а также дочери их и прочие близкие и далекие родственники, а также артисты, врачи, ученые, литераторы. Некоторым заключенным через определенное время разрешалось получать посылки. Присылали не только консервы, конфеты, шоколад, но и входившие тогда в моду капроновые чулки и прочие предметы женского туалета. Путем подкупа лагерной администрации и надзирателей зэчки получали запрещенные вещи. Наблюдая за Миткаловым, они сделали вывод — любит пожрать. Будучи в конвое на овощехранилище, он принимал от зэчек подношения из их запасов в виде миски соленых, крепких, маленьких огурчиков или помидоров сорта «дамские пальчики» — зэчки же в отместку предварительно чуток мочились в миску.

Нередко конвой по несколько дней в одном и том же составе и с той же бригадой зэчек ходил на работу на один и тот же объект. Всю провокацию блестяще провела бригадир зэчек. Тонкой игрой, кокетством и

лестью, которую так любил Миткалов, она вызвала к себе его доверие и расположение.

— Начальник, — обратилась она к нему, — мне из Москвы доставили посылкой чудесные консервы. Хочешь, баночку подкину?

Еще раньше Миткалов уловил аромат тушенки. Время обеда уже прошло. У него засосало под ложечкой. Зэчки брали с собой кое-что закусить, чтоб заморить червячка. Конвой же с раннего утра и до вечера ничего не ел, часто обедал и ужинал заодно.

— Неси, — проглотил слюну Миткалов.

Бригадир повернулась, чтоб идти.

— Постой! Но только так, чтоб никто не видел.

— Будь спок, начальник!

Бригадир медлила. В конюшне, где работали, ее окружили подруги: «Надо дать тогда, когда подойдет проверяющий». Расставили свои скрытные посты наблюдения.

«Пришла, натрепалась, а сама и носа не кажа», — раздраженно подумал начальник конвоя.

«Идет, идет проверяющий офицер, он еще далеко, а может, и не к нам, подождем еще, посмотрим. Теперь точно — к нам». Бригадир взяла свой бушлат, в рукав которого была втиснута банка и, улыбающаяся, направилась к начальнику конвоя.

— Начальник, в кармане бушлата хлеб, тушенка в рукаве. Открыть найдется чем?

— Для этого складень имеется.

— Начальник, советую расстелить бушлат, — доверительно сказала она. — Получится скатерть-самобранка.

Миткалов сделал по-своему. Сложил бушлат вдвое, положил на пень и уселся трапезничать. Здесь его и накрыл проверяющий офицер из патрулирования. Пока он распекал Миткалова, появилась бригадир.

— Начальник, отдайте мой бушлат, на котором вы сидели, и мою тушенку, которую ели.

Вечером на инструктаже под номером один состоялся разбор ЧП — нарушения конвойной службы начальником конвоя Миткаловым.

— Оказывается, чекиста, пынтили, можно купить за банку тушенки, пынтили, — капитан Минеев ударил пальцем по журналу, который держал перед собой.

По личному составу прошел шепот.

— Другого за этот поступок, пынтили, отдали бы под суд трибунала, пынтили. Младший сержант Миткалов, подробно опишите свое нарушение, как вы, пынтили, поддались на уловку врага народа, пынтили...



Железнодорожный поселок Абезь расположен посредине железнодорожного пути между Интой и Воркутой, на берегу красивой реки, быстрой, широкой и каменистой. Берега реки живописны, обрывисты, поросли могучими елями и соснами. Здесь лесотундра. Через реку Абезь перекинут высокий, ажурный и очень длинный железнодорожный мост. В поселке два лагеря, мужской и женский, и полковая школа на триста человек. Имеется школа для детей местных жителей. Это — семьи военнослужащих и охраны лагерей. Аборигенов — коми — здесь мало, они ведут кочевой образ жизни. Предпочитают оленеводство и рыбную ловлю, зимой охоту.

Нас привезли в Абезь поздно вечером. До этого мы не спали ночь и день. Усталость валила с ног. Нас построили на плацу школы. Разбили по ротам, взводам и отделениям. Первое отделение первого взвода первой роты становится на посты на охране школы. Только бы не попасть в это окаянное число и не угодить на пост. Еле держусь на ногах, засыпаю стоя. Хочется упасть и провалиться в забытие. Скорее бы все это кончилось. Переключка кажется бесконечной. Спать, спать, спать, хочется только спать. Наконец построение по взводам, и я в первом взводе и первом отделении назначаюсь на пост № 1. Наваждение, и только. Стоял в строю и думал: нет, на меня не падет жребий, не должен, мне так не хочется. Но и на старуху бывает проруха. Плац опустел. Погасли в казарме огни. Посты у нас подвижные. Поверх шинели на мне тулуп, в руках карабин. Дважды проверяющий пытался застать меня врасплох, снящим или дремлющим, но нарывался на одно и то же: «Стой, кто идет?»

— Проверяющий.

— Пароль?

— Ялта.

В темноте определил: у забора полоса препятствий. За забором еще забор, затем предзонник и ограда лагеря. Вышки значительно ниже, чем у нас в Инте, и совсем не слышно собак. К северному сиянию привык настолько, что оно не вызывает и доли восторга.

От него веет убийственным холодом. Год службы позади.

Начинаются дни занятий, расписанные по минутам. Аскетически бедная столовая, напоминающая сарай, грубые столы и скамейки. Алюминиевые ложки, миски и кружки. Еды не хватает. Понимаем, что потом втянемся

в норму. Утром после подъема ежедневная пробежка по взводно — три километра по снежной хляби. Вечером перед отбоем прогулки строем с песнями.

В Абезе в один из воскресных дней за лектора был генерал МВД. В клуб, довольно большой, нас набили битком. Кроме курсантов полковой школы, были и солдаты местного гарнизона. Их, как и нас, не спрашивая, привели строем. Прimitивная лекция генерала была пропитана шовинистским угаром, отравлена ядом национализма. Он взахлеб превозносил наших северных мореплавателей, первопроходцев-первооткрывателей и всячески принижал иностранных, особенно англичан. После лекции мы неистово должны были бить в ладоши. Задавать вопросы не полагалось.

Вторая лекция генерала была о приоритете русских изобретателей. Они были первыми во всем: в изобретении паровоза, паровой машины, телеграфа, парохода, аэроплана, электричества. Хотелось возразить лектору, но полемизировать с ним я не решился.

Каждое утро — один и тот же гнетущий вид из окна. Это зэчки, впрягшись в постромки, тянут по снежной дороге длинный и широкий лист черного железа с загнутыми краями. На нем лежат серыми бугорками мертвецы. Как живые, они шевелятся на неровностях дороги, скользят по гладкому листу. Зэчки-возницы, их трое или четверо, останавливаются, укладывают мертвецов и, снова впрягшись, тянут в горку. В Абезе больница для тяжелобольных или смертельно больных зэков. Оступляющее однообразие. Изо дня в день политинформация, политподготовка. Великая Октябрьская социалистическая революция. Роль большевиков. Разгром меньшевиков и эсеров. Разгром кулачества как класса. Блестящая победа Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне. Десять сталинских ударов по врагу. Великая сталинская конституция.

Политзанятия чередуются со служебной подготовкой. Это важный для нас и обширный материал. Порядок конвоирования по железной дороге в товарных вагонах. Конвоир располагается на устроенной для него специальной площадке между вагонами. Периодический порядок пересчета заключенных. Зэки перемещаются на одну половину вагона, другую половину (пол и стены вагона) конвоир простукивает тяжелым деревянным молотком на случай пропала. Даже при самом тщательном обыске заключенные могут утаить иглу, гвоздь и ими во время движения процарапать пол или стену на-

против часового и совершить побег. Таких случаев приводят нам множество. В процарапанную или пропиленную напротив стоящего часового стенку ударяют с силой ногой, и конвоир падает под идущий вагон. В пропиленное отверстие прыгают на ходу или на остановке. Так заключенные совершают побеги.

Первый день поимки называется местным розыском, вторые сутки — районным; если не изловили за вторые, то объявляется всесоюзный розыск. Во все отделения милиции на территории СССР рассылаются фото в фас и профиль, описание характерных примет. Устраиваются засады, как правило скрытые, в любых предполагаемых местах появления или пребывания беглеца: у родителей, у жены, у друзей и знакомых, а также у близких и дальних родственников. Таким образом — блокада, кольцо сужается, и он будет пойман. Дело во времени.

Учат нас расстановке конвоя во время пересчета зэков, посадки и высадки из вагона. Порядок конвоирования в пути в черте города, применение оружия в черте города в местах скопления людей. Заключенный, рванувшийся из строя и бросившийся в толпу или многолюдное место, считает себя вне опасности. Правильными действиями конвоя будут такие: конвой должен громко крикнуть всем: «Ложись!» — и дать предупредительный выстрел вверх. Все должны выполнить эту команду, а заключенный, если этого не сделает, будет мишенью. Если конвоир промажет в зэка и убьет гражданского — то ответственности нести не будет. Изучаем получение зэков из лагеря, правильное оформление документов на них, а также передачу их новому конвою или лагерю.

Были ли случаи побега заключенных с концами? За все время существования нашей дивизии — один только раз, после 1945 года. В мужской лагерь на КП вахты пришли двое одетых по всей форме — капитан и майор. Представились уполномоченными Особого отдела. Предъявили пропуска по всей надлежащей форме. Показали предписание и цель своего посещения. Они заберут в Особый отдел в Инту под расписку сроком на три дня заключенного номер такой-то. Прошли в зону к начальнику лагеря, потребовали того, кто им нужен, и увели его. Минуло три дня. Заключенного в лагерь не возвратили. Лагерный особист позвонил в первый отдел в Инту и спросил, вернется ли в лагерь заключенный, взятый в Особый отдел три дня назад. Ему ответили, что Особый отдел этого не делал. Так бесследно, таинственно исчез один из зэков. Операция была проведена исклю-

чительно профессионально. Во всех же других случаях заключенных ловили и если не убивали, то возвращали в лагерь.

Заключенные, склонные к побегу, зачастую выдавали себя еще заранее. В лагере они начинали усиленно тренироваться на выносливость. Особенно в беге на длинные дистанции. Они знали: уйти от тренированных оперативников с собаками можно, только превосходя их физически. В зоне таких засекали оперативники, надзиратели и стукачи. К побегу зэки готовятся долго и тщательно. Надо запастись питанием. В бараке его не спрячешь, при частых шмонах обнаружат запас. Возможность совершить побег представляется не так уж редко, особенно на рабочем объекте. Бывает, часовой-конвоир заснет стоя или же сидя у костра, разомлев от приятного тепла. Подходи к такому, бей топором по голове, бери автомат или карабин и беги. Но подобное случается крайне редко, и только потому, что зэки не готовы к побегу. У них нет запасов еды, спичек, соли, ножей.

Как-то на объекте бригадир зэков окликнул меня: «Начальник, проверьте вот того часового». Я направился в ту сторону и увидел в окружении елей и сосен часового, упоенно занимавшегося онанизмом. Он был в таком экстазе, что походил на глухаря во время песни, когда тот, закрыв глаза, ничего не видит и не слышит. В бригаде зэков, власовцев, бандеровцев и лесных братьев из Прибалтики были срока 25 лет. Они легко могли убить часового, завладеть его оружием и бежать. Но, видимо, подвернувшийся случай им был некстати. Что касается женщин, то с ними проще. Ни одна из них с любым сроком, от 10 до 25 лет, не пыталась сделать сколько-нибудь серьезную попытку бежать.

Работая на кухне, в удобный момент, во время лирического расположения духа старшины Минькина, пожилого сверхсрочника, заведующего воинской столовой, я к нему с вопросом:

— Товарищ старшина, а были случаи побега женщин?

— Нет, при мне не было, а служу я сорок лет. Правда, в войну конвоировал военнопленных.

— А Уральский хребет, горы, что виднеются, сколько до них?

— До них километров семьдесят — девяносто.

Сегодня старшина Минькин особенно словоохотлив, и я знаю, почему. У него старинный кожаный саквояж, довольно вместительный, какие носили земские врачи, ну,

скажем, А. П. Чехов. Он у него сегодня полон, даже туго набит. В нем 5 кг копченой колбасы, много пачек грузинского чая первого сорта и сливочное масло. Все это он вместе с главным поваром урвал от солдатского пайка. Колбасу съест сам, а пачки чая переправит со знакомым надзирателем экам в зону на чефир, то есть продаст. Старшина вызывает у меня брезгливость, но я не выражаю этого внешне. Минькин — гурман, по-своему. У него квадратное красное лицо, изрытое крупной оспой, он высок и полон. Длинным поварским ножом соскабливает копоть со свиной шкуры, затем нарезает ее дольками, толстым пирогом одну на другую накладывает на хлеб и ест как бутерброд. Вонзает желтые передние зубы в хрустящие корки, испытывая при этом видимое удовольствие. Все-таки, заметив мой взгляд, сказал: «Мой отец, покойный, бывало, так делал. И скажу вам, шкура — полезная вещь».

Я не даю уклоняться ему от темы, волнующей меня.

— Товарищ старшина, горы Уральские в общем-то низкие, а эти могучие, даже летом низко на склонах лежит снег.

— Эти самые высокие из них, ники километра полтора-два будут, — пояснил он.

— Бывали на них?

— Ты лучше спроси, где я не бывал. Ты думаешь, почему эки бегут к ним? А потому, что за хребтом займки комиков, их стойбища и матушка-тайга. Видит, как говорится око, да зуб неймет. Подойти к горам трудно, на подступах к ним болота и трясина. Правда, есть оленьи тропы, но их знать надо. На основных проходах в горах, где комики своих оленей считают, круглогодично наш брат краснопогонник стережет. Трудно пройти за перевал, а преодолеешь — твое счастье. В тайге есть охотничьи сторожки, в которых запасы всего, да еще на них-то набрести надо, вот так-то. Не зная тайги, пропадешь в ней, как и в тундре.

— Ну, а были случаи, чтоб кто из эков преодолел горы, ушел в тайгу?

— Был один такой антихрист, черту брат. Антихрист этот Терещенко. В годы войны гитлеровский пособник, из особой карательной зондеркоманды, действовавшей в Краснодарском крае. Принимал самое активное участие в погромах, казнях, пытках и массовых расстрелах евреев, военнопленных и мирных граждан. Перед войной был осужден и отбывал наказание за симуляцию, за уклонение от службы в Красной Армии. Отрубил себе указа-

тельный палец правой руки и порвал ухо. Вот этот говорез и бежал, да еще четверых с собой подбил. След его собака не взяла, не пошла, и все. Ядом или порошком каким присыпал; отравил нюх собаки. Дело было в осени, вырубили они освещение; раскрутили проволоку и накинули на провода, замкнули наружное освещение, и айда. Без собаки их поймать, что иголку в стоге сена искать. И тропу нашел, бестия, и часовых обошел, и горы перешел. Спускаясь с них, наткнулись на станцию метеорологов, так всех там и уничтожили. Взяли документы, одежду, деньги, продукты и два ружья. На пути встретились им пастухи-оленоводы с семьями и детьми, так и их всех вырезали. Ночью он от своих сбежал. Остались они без него, как щенки слепые. Помыкались, помыкались и в тайгу уйти не успели. Изловили их. А его — нет, с концами ушел. Поиск давно прекратили. Разослали его карточки с приметами по милициям, авось, коли жив, обнаружится. Несколько месяцев прошло. На нем уже крест поставили. Сгинул где-нибудь в тайге или сгнил заживо в непросыхающей тундре. Прошло полгода, а может, и больше. В дежурном отделении милиции в столице Коми АССР — городе Сыктывкаре двое милиционеров, коротая время на ночном дежурстве, играли в домино. Один из них, оставшийся козлом, мешал кости. Растопыренными пальцами шаркал по столу. И тут сержанта, что сидел напротив Терещенко, осенило: он! Определенно он! Вот и ухо порвано правое и палец указательный короткий, без двух фаланг. Постой, погоди, когда же он к нам прибыл? И это совпадает. А как продвигался по службе, подлец! Всем на зависть и удивление. За полгода старшиной стал. Так благодаря профессиональной наблюдательности милиционера был раскрыт и обезврежен опасный военный государственный преступник. Случай более чем поучительный. Хитер преступник, кажется, все рассчитал. Однако же!

Старшина Минькин встает, я раскрываю шкаф и услужливо подаю ему одежду. Сегодня он одет не по форме, на нем толстый гражданский свитер, шапка, на ногах белые ботинки со скрипом и с закатанными на икрах голенищами. Я беру с него слово рассказать о страшной гибели пятидесяти семи солдат.

Вечерами и по воскресеньям у нас прогулки с песнями. Не во дворе школы, а по дороге поселка Абезь. Навстречу нам идут бригады эчек. Что испытывают они,

что чувствуют, когда мы, поравнявшись с ними, орем песню?

Прощай, Маруся, дорогая, я не забуду твоей ласки.  
А может быть, в последний раз я вижу твои карие глазки.

Получается, что поем мы вроде для них, для этих Марусь, молодых и красивых. Здесь не одни умирающие. Потом вдруг горько осознаём: меж нами, солдатами, и ими — барьер неестественной, искусственной отчужденности, какой-то дикий, непреодолимый, нечеловеческий. Они для нас злые враги. Однако их глаза и лица улыбаются нам естественно, радостно. Кто создал этот страшный, жуткий барьер? Мы тоже улыбаемся им. Но мы скрываем улыбку от себя, друг от друга. Мы для них тоже враги. На душе горько и тяжело. Есть сила, какая-то злая, необоримая... Кто-то распоряжается ею, направляет ее, кто этот человек? Злой демон? Идем назад, поем другую песню, опять же обращенную к ним. Они олицетворяют для нас наших жен, подруг, любимых, оставленных далеко и надолго.

Так здравствуй, поседевшая любовь моя.  
Пусть кружится и падает снежок  
На берег Дона, на ветку клена,  
На твой заплаканный платок.

Кто натравил нас друг на друга? В кармане моей гимнастерки маленькая карточка жены, я не расстаюсь с ней. Она связывает меня с домом. В особо горестные минуты гляжу на нее.

Очередь стоять на посту по охране школы выпадает редко. Под утро вижу, как старослужащий, командир отделения сержант Фитцер перемахнул, точно лось, высокий забор и скрылся в казарме. Успел из самовольной отлучки прибыть к подъему. Всю ночь он не спал в объятиях подруги, которая работает стрелочницей на железнодорожном посту. Живет она в поселке. Там же живут и офицеры нашей школы. Шила в мешке не утаишь. Они знают о любви стрелочницы к Фитцеру и то, что он часенько проводит с ней ночи. Она очень красива, вылитая «Незнакомка» Крамского. Да и он ей пара. Конечно, я как часовой должен доложить, донести на него, но я этого не сделаю. Напротив, я сочувствую ему и не одобряю пошлой травли Фитцера командованием школы. Он уже отслужил свои три года восемь месяцев и теперь переслуживает — вот доведет до конца наш выпуск, и домой. По сути, он как бы сверхсрочник. Закрыли бы глаза на



его любовные мучения, а вернее, открыли бы их и сказали: «Фитцер, вам разрешается быть у нее и вменяется возвращаться строго к подъему, исключая дни дежурств по школе и столовой». Если бы так. Фитцера изводят. В то время, когда с нами проводят занятия офицеры, сержанты свободны. Усевшись в круг на койки, где-нибудь в уголке, мечтают о доме, а то, склонившись над тумбочкой, пишут письма. А Фитцер, естественно, в укромном месте не раздеваясь приляжет соснуть. В перерыве к нему подходит командир роты капитан Саврасов: «Сержант Фитцер, проснитесь». Он встает, разглаживает под ремнем гимнастерку, одергивает ее, высокий, стройный, похожий на латышского стрелка Яна Фабрициуса, только без усов.

— Почему вы не ведете конспект, другие пишут его, а вы спите?

— У меня есть готовый конспект.

— А спите почему?

Красивое лицо Фитцера бледнеет, он борется с собой, сдерживая порыв гнева, и тихо отвечает: «Вы знаете...»

— Я-то знаю, да вот вы не хотите знать, чем это может для вас кончиться. Вы разлагаете не только сержантов, но и курсантов. Подумайте, что будет, если они с вас пример брать будут.

Еще более оскорбительно отчитывал его замполит. Фитцер мучился, но не сдавался. Любовь его была настоящей. Несколько раз его пытались коллективно судить, но друзья сержанты дружно вставали на сторону товарища. На третий день после нашего выпуска он уехал с беременной женой в родную Латвию.

Серое низкое небо. Промозглый воздух. Мокрый водянистый снег на всем. Пасмурные, однообразные, тягостные, безрадостные дни. Зэки, волокуша и мертвецы на ней... Их волокут уже не трое и не четверо, а пятеро или шестеро зэчек. Скрипит, скрежещет под железным листом подтаявший каменистый песок. Отрешенные, пустые глаза, безразличные, мутные взоры. Жизнь как свеча. Тает и плавится слезами. Нет сильнее бога — всемогущего ГУЛАГа. Чертов вертеп страшнее ада. Он пожирает не только зэков, он калечит солдат и офицеров.

Нам жаль Рыбалко, старшего лейтенанта, командира взвода нашей школы. Он был сдержан, справедлив, человечен. Знал душу солдата и способен был залезть в его шкуру. Он поехал на родину — получил накануне теле-

грамму: умирает мать. В вагоне-ресторане расслабился, перебрал и, не доехав до Котласа, был снят с поезда военным патрулем. Офицеру-краснопогоннику злорадно помогли в компромате сидевшие в ресторане вольные. Подходили к нему и притворно чокались с ним, пока он не оказался под столом. У пьяного забрали документы, сняли с ног сапоги, ремень, фуражку и, в насмешку, один погон. В Котласе позвонили военному коменданту, что-де офицер МВД устроил в вагоне-ресторане драку, избил несколько человек, приставал к женщинам и перебил посуду. Старшего лейтенанта Рыбалко судили закрытым офицерским судом чести. У него слетела с погон звездочка. Через десять лет службы, полной тягот, неудобств и лишений вместо ожидаемой четвертой звездочки у него осталось две. Правда, с должности командира взвода его не сняли, но в роту он больше не явился. Самоубийство его потрясло всех нас. Рыбалко проводил жену в школу, она была учительницей в поселке. Детей у них не было. Оставшись один, достал чемодан, посмотрел семейные фото: мать, отец, брат, сестра, свои служебные реликвии — благодарности, грамоты, значки... Вспомнил детство, годы юности, пору любви и женитьбы и, может, еще что-то, одному ему ведомое, сокровенное. Он обильно и долго плакал. Потом раздался выстрел. Барак встревожился. Сосед-надзиратель открыл дверь в комнату Рыбалко и тут же захлопнул ее. Побежал в школу к жене Рыбалко. Потрясенная учительница подняла с пола мокрое от слез мужа полотенце и прижала к глазам своим. Так не стало у нас уважаемого нами командира взвода Рыбалко.

Успехи мои по всем видам многочисленных служебных дисциплин самые отменные. От нас требуют знать на память, как «Отче наш», десять сталинских ударов. На тактических занятиях сержанты-сверхсрочники, бывшие фронтовики, демонстрируют нам возможности реакции тренированного человека. Находясь на расстоянии прицельного выстрела за пуленепробиваемым прозрачным стеклом, они в момент выстрела успевают уклониться, спрятаться от пули. Это фиксируют приборы. Мы ходим в атаку на условного врага, засевшего в окопах, хорошо окопавшегося, с пулеметными гнездами. Нам выданы боевые патроны. Мы — это я и Калинин. Мы ручные пулеметчики. Наша задача — за 60 секунд выбрать позицию, установить пулеметы на сошки и поразить огнем

противника. В укрытии находятся два сержанта с макетами. Они приподнимают их и держат минуту. Если мы не успеем поразить цели, наш взвод считается уничтоженным. Если же будет прямое пулевое попадание, взвывается ракета — сигнал атаки. Тогда взвод с криком «ура!» бросится вперед на врага, стреляя из автоматов и карабинов холостыми. Сблизившись с противником, надо забросать его гранатами. Мы с Калининским выполняем свою задачу, за несколько секунд поражаем «пулеметчиков» и вместе со всеми бежим вперед. Я, как актер, вошедший в свою роль, испытываю патриотическую страсть и неудержимый порыв. Вот так и в атаке на войне, в рукопашном бою, озверевшие люди, оставив рассудок в траншее, в звериной злобе идут друг на друга, чтоб успеть убить первым. Сблизившись, колют, бьют, стреляют, стонут, охают, ахают, скрипят зубами, матерятся... А впереди у нас — самое трудное испытание. Скоро поход. Мы учимся превращать шинель в скатку, в хомут на шею. Я убежден, что обычай этот архаичен, он превращает солдата в ишака, в верблюда. Шинель груба — такой наверняка нет ни в одной армии мира. Скатка, надетая через голову, на плечо, в походе натирает шею, трет, раздражает щеку, делает солдата неуклюжим, медлительным, неповоротливым. Зато ползать в шинели по болоту, по песку и грязи превосходно. Здесь ей нет равных, она как затертый половик. Высохнет, помни ее, потряси и надевай снова.

Мы готовимся к марш-броску на 20 км в полном боевом. Позади изнуряющие тренировки на полосе препятствий, прыжки через коня, подтягивание на перекладине, работа на брусках. Марш-бросок в полном боевом — это испытание на выносливость. Вещмешок, саперная лопатка, фляжка с водой, скатка, противогаз и оружие. У самых сильных и выносливых в дополнение диски от пулемета. Трасса маршрута проходит вдоль левого берега реки Абезь. Она живописна. Пересечена оврагами и все время идет дремучим девственным хвойным лесом. Сержанты, командиры отделений, идут налегке и все время ускоряют шаг. Они и спереди, и сзади, и с боков. Покрикивают, подгоняют отставших, орут. Погода отличная, с раннего утра прохладно, солнечно и тихо... Но вот начинает подниматься солнце и донимать жара. Лес наполнен бряцанием оружия, тяжелым топотом солдатских сапог, прерывистым дыханием. По лицам струится пот. Когда же будет привал? Пора сделать остановку. Портянки в сапогах сбиваются в складки. Стоит вспотеть но-

ге, как тут же появятся мозоли, а еще погода они станут кровавыми и лопнут...

Наконец трехминутный привал. Быстро снимаю сапоги, разматываю портянки, встряхиваю их, меняю правую на левую. Порядок. Замечаю ошибки товарищей. У некоторых портянки новые, потому на складках грубы и плохо впитывают влагу. Хочется пить. Но сдерживаю себя, креплюсь. Знаю: вода расслабляет. Командиры решили укоротить маршрут на три километра. Хорошо! Половина пути пройдена. Конечный пункт — стойбище комиков. Большой привал. Все падают от усталости. Тянут из фляг теплую воду. Успеваю рассмотреть деревню коми. Дома их такие же, как в России. Из бревен, с окнами, трубами, дверями. Замечаю, что они не обжиты. Потом узнаю: комики не признают их, отказываются наотрез жить в избах, они кочуют вместе с оленями. Успеваю подсушить портянки и ноги. Из фляги ополоснул лицо и шею. Смыл соленый пот.

«Подъем!» — разносится по лесу зычная команда. «Вперед, марш!» Пыл похода заметно угасает с каждым пройденным километром. Темп замедлился. Отмечаю красивейшие дикие, нетронутые места. То крутые скалистые берега, поросшие соснами, то вдруг отмели золотисто-желтого чистого песка. Здесь наверняка не ступала нога человека. Рухнули замшелые неохватные ели, они умерли естественной смертью от старости. Время истощило их. Обрывистые желтые берега, освещенные солнцем, и вода, сквозь которую просвечивает дно, усыпанное камнями.

Теперь мы понимаем, почему сержанты шли налегке. В конце пути выявились слабаки, набившие ноги, не могущие нести дальше оружие и скатки. Сержанты разгрузили таких. Сами теперь, как навьюченные верблюды. «Не останавливаться, всем двигаться!» Наша цепь растянулась, разорвалась. Выносливые и сильные уже достигли поселка. Сложив имущество на берегу, раздетые, плещутся в реке. Не скоро подошли хромящие, ковыляющие, отставшие. На плацу школы нас встречает командование. Четырнадцать курсантов сразу же отправили в госпиталь, многих в санчасть. У них кровоточат ступни. Их публично и громогласно обозвали вредителями, они заслуживают отчисления. Половина состава курсантов не могла идти строем в столовую. Мозоли на ногах вздулись рыбьими пузырями. Те, которые поддались желанию искупаться в довольно холодной воде, схватили воспаление легких. На другой день состоялось общее со-

бране. Выступал начальник школы майор Ткаченко: «Поход показал, на что вы способны,— начал он.— Половина личного состава вышла из строя, она не боеспособна. Сорваны политзанятия. А все потому, что вы не научились наматывать на ноги портянки. Чему вы будете учить солдат?»

Он расхваливал предыдущий выпуск, но мы-то знали и понимали, что он будет так же ставить в пример нас следующему выпуску. Три дня болели у меня мышцы.

По периметру территории школы эки построили вышки. Впервые пришлось постоять на четырехсменном посту, как положено по Уставу. Это значительно легче, чем на трехсменном. Почему командование применяет трехсменные посты, а для наказания и издевательства двухсменные? Можно сойти с ума, стоя в ночном безмолвии, когда время неимоверно растягивается. Это противочеловечно, глубоко преступно. Не по-советски, не по Уставу, не по закону.

Начались дни подготовки к экзаменам. По традиции, сдавшим все предметы на пять присваивается звание сержанта. Иду к этой цели. Предмет за предметом сдаю на «отлично». Остается боевая стрельба из карабина. Дистанция 200 м. На «отлично» надо выбить не менее 27 очков из 40 возможных. Звучит команда на огневой рубеж. Знаю: нельзя терять до последнего момента мушкету с прорези прицела и середину яблочка мишени. Плавно, в самый последний момент надавить на спусковой крючок, так, чтоб он не шевельнул ствол. Стреляю четыре раза. В трех уверен, что мишень поразила. Отстрелявшихся к мишеням не берут. К ним идет судейская бригада — три офицера и сержант. Результат каждого заносят в тетрадь. Ждать долго, пока не отстреляются все. Если все предметы у меня сданы на «пять», а стрельба из карабина на четверку или тройку, сержанта мне не видать. Таковы условия. Наконец, нас выстраивают и оглашают результат. Самый удачливый из нас выбил 34 очка. Затем зачитали, кто 32—31—30 — меня все нет. На душе пасмурно. Зачитывают, кто выбил 29 очков, и я в их числе.  $5 + 7 + 8 + 9 = 29$ , вот та пятерка, в которой я был не уверен.

Наступил торжественный день присвоения звания. Приехал в школу командир дивизии полковник Пантюх. Ему представили на подпись четверых отличившихся, сдавших все дисциплины на пятерки. Когда зачитали мою фамилию, он автоматически спросил: «Комсомолец?» Командир моего взвода замешкался с ответом.

— Я вас спрашиваю, комсомолец он или нет? — поднял голову Пантюх.

— Нет, не комсомолец.

— На фиг! Младшего сержанта...

На самом деле командир дивизии выразился покрепче. Так он украл у меня пусть маленькое, но звание. И так же он крадет у меня, вернее, у всех нас, увольнения, отпуска домой, личное время и почти два года свободы, ибо мы вынуждены служить не два года, а три и восемь месяцев. Они попирают закон, Устав, Конституцию. Я жду распределения. Оставаться в школе, обучать курсантов я уже не могу, потому что не сержант. Вспомнил идиллическую картинку. Когда мы возвращались с маршброска, в пойме реки на заливных лугах эчки под охраной краснопогонников сушили скошенное сено. Заметил нескрываемую радость на лицах, в глазах от приятной, естественной близости парней и девушек...

Новое ЧП в Абезе. Оно такое же неожиданное, как первый мороз и выпавший снег. 28 октября 1952 года день начала зимы в Абезе. В первый день, в первый раз встали на вышки солдаты нового призыва. Все они из Литвы. Характерный говор и акцент выдают их. В лагере эков масса литовцев. В женском же лагере две родные сестры — дочери хорошо известного белогвардейского атамана генерала Семенова. Он вел боевые действия против большевиков на Дальнем Востоке. Они уже немалоды. Просидели десятки лет в лагерях, ожесточились на Советскую власть. Открыто выражают это, не лицемерят, не скрывают. Старшая из них решилась на дерзкий, безрассудный поступок. Подошла под вышку к часовому и стала уговаривать молодого солдата не стрелять в нее.

— Подумай, кому ты служишь? Здесь, в лагере, ваши, твои «лесные братья», отцы, сестры и матери. Они сидят и томятся только за то, что страстно, всей душой и телом, всем сердцем хотели видеть Литву свободной. На твоём месте я бросила бы пост и убежала из армии в родную Литву, в леса. Там в них много ещё твоих настоящих друзей. Они борются за свою землю, за красоту Литву. Побежим вместе, я подготовлю тебе побег. Нас не поймают, пойми это. Ты здесь, на этой вышке, убьёшь свои лучшие молодые годы. Ради чего? Тебя проклянут твои мать и отец, когда узнают, зачем ты здесь и кого стережешь.

Солдат растерян, ошеломлен, растроган и окончательно разagitирован. Она поняла это, почувствовала смятение в его душе и осмелела. Перелезла предзонник. Часовой на вышке молчал и не применял оружия. Она преодолела еще три ряда колючей проволоки. Отошла от вышки, оглянулась, часовой стоял к ней спиной и не думал стрелять. А она... она все более робела и терялась по мере удаления от зоны. Куда идти? На ней арестантский эковский бушлат. Стало быстро смеркаться. Похолодало. Она виновато, тихо шла по поселку. Навстречу прошли трое солдат. Сейчас схватят, подумала она. Нет, прошли дальше, не обратив на нее внимания. Такого испытания ей больше не выдержать. Она свернула с дороги и пошла к низкому, слабо освещенному барaku. В коридоре за дверью было тепло, пахло углем и газом. Она переступила с ноги на ногу, перекрестилась. Дальше по коридору были еще двери, но она не пошла вперед, постучалась в первую. За дверью слышалось движение, скрип отодвинутого стула и шаги. Сердце ее сжалось в маково зерно, дыхание остановилось. Несколько минут она не мигая глядела в глаза этому широкому, кряжистому, невысокому человеку. Затем, не произнеся ничего, прижав к груди руки, со слабым стоном опустилась на колени. Она его и он ее давно и хорошо знали. Он был вольнонаемным надзирателем, затем нарядчиком у них в зоне. Он, не спрашивая ее ни о чем, взял одной рукой за воротник бушлата и поднял с пола. Свободной рукой достал с полки фуражку, надел. Так, раздетый, в фуражке и привел ее на вахту лагеря. О ее побеге не успели прознать. Поэтому скрыли. Часовому-литовцу крупно повезло — дело замяли. С личным составом провели самый строгий инструктаж. С часового, проявившего малодушие и не применившего на посту оружие, была взята подписка, что при подобном случае он будет действовать согласно предписанию и наставлению.

О случившемся почти забыли, как вдруг все повторилось. Теперь номер у нее не прошел. Вышла игра со смертью. Часовой предупредил ее в запретной полосе. Она не подчинилась. Тогда он выстрелил ей в живот, и она распласталась на шатровой проволоке. Смерть обошла ее. Лагерные профессора-медики спасли ее.

...Мы расстаемся с Абезью, отстойником для смертников, с местом преждевременной гибели очень многих заключенных, нашедших здесь свой вечный покой. А мы проливали здесь пот, много пота. Мы учились. Теперь едем по своим местам, в свою часть. В клубе нас по-



строили в три шеренги. Командир части подполковник Банденюк, высокий и мощный, зычным голосом рисует нам внутреннюю обстановку в части. Предстоит много работы, говорит он, особенно нам, младшему комсоставу.

— Вы будете находиться в гуще солдат, всегда и везде. Не панибратствуйте с ними, не ищите дешевого, легкого авторитета у них. Такой авторитет как мыльный пузырь. Будьте требовательными, но справедливыми. Не давите на нерв солдату никчемными придирками, не лезьте зря в душу. Мы и так потеряли за год восемьдесят семь человек. Вдумайтесь, товарищи сержанты, в эту цифру. Потерять боевую роту в мирное время! Эти люди сошли с ума, повесились и застрелились.

Подполковник, или, как любовно называют его солдаты, «Батя», — боевой офицер-фронтовик. Прибыл в часть в звании полковника. Жил с семьей в Инте. Однажды, будучи с женой в кино в городском клубе, ввязался в драку между солдатами и гражданскими, бывшими зэками. Гражданских было больше, и они теснили солдат. Тут разыгралась удаля бывшего фронтовика, не раз ходившего врукопашную на фашистов.

— Ребятки! — взревел он, сбросил с плеч шинель на руки испуганной жены. — За мной!

Ворвался в гущу и начал крушить могучим кулачищем направо и налево. Солдаты бросились за Батей и наголову разбили противника. Наставили им синяков и шишек. Поразбивали носы, повыбивали зубы. Пустили, что называется по-зэковски, кровянку. Случай получил широкую огласку. Политуправление находилось в Инте Батю за организацию побоища в общественном месте раз жаловали до подполковника. Ни один из пострадавших вечнопоселенцев не пожаловался на комполка. Напротив, Батю за этот непредсказуемый поступок уважали все жители городка, как вольные, так и пострадавшие, а уж о солдатах и говорить нечего.

С того дня, когда нас формально перевели в военизированную охрану МВД и стали платить двадцать три рубля, солдаты получили возможность, убегая в самоволку, покупать водку и напиваться. Пьяных отправляли на дивизионную гауптвахту. Как-то после получения зарплаты мертвецки пьяных солдат, убежавших в самоволку, на грузовой машине привезли в часть. Подполковник решил взглянуть на отличившихся. Когда их разгружали, один из солдат нещадно выражался. Увидев приближающегося командира полка, кто-то сказал: «Тихо! Батя идет!»

— А я Батю в рот..!

Утром комполка посетил гауптвахту. Вошел и на всю губу громко спросил: «Где тут у вас сидит тот герой, который вчера в рот меня...?»

Протрезвевший, раскаявшийся солдат попросил прощения. Батя великодушно простил его. На гауптвахте была персональная камера лейтенанта Рыбкина. Этот молодой, стройный, подтянутый офицер производил отличное впечатление. Но только внешне. Во время поездки за молодым пополнением на Украину набрал домашних адресов служивших солдат и, посещая их отцов и матерей, брал вещи, продукты, деньги для сына-солдата. В дороге же лейтенант Рыбкин продукты съел сам, а деньги и вещи промотал. Вскоре в части похождения новоявленного Чичикова стали известны. Он был водворен на губу. Выйдя из нее, решил больше не служить вовсе. Уходил из части в самоволку, напивался, но никогда не впадал в скотское состояние, знал свою норму. Всегда, неизменно был чист и опрятен. Форма отглажена, сапоги сверкают, сам свеж, чисто побрит. За похождения его опять водворяли на губу. И офицерский суд чести не помог, не образумил лейтенанта. Общий срок его ареста перевалил за полгода. Над ним состоялся закрытый суд военного трибунала — судила чрезвычайная тройка. Какое обвинение ему предъявили, никто в части не знал. Только лейтенанта Рыбкина препроводили в тюрьму смертников, из которой никто не возвращался.

## 8

Я попал в свой взвод и стал командиром того отделения, в котором служил сам. Бросилось в глаза, как изменились солдаты: в глазах безразличие и тупая отрешенность. Мой приятель Волков, наоборот, весел и не унывает. Отпустил усики. Ходит, выпятив крутую грудь. Скоро я узнал причину веселости некоторых солдат — их тайную жизнь. Ключев и Страхов ведут безрассудную, беспорядочную половую связь с зэчками. Ключев — тот, что играл и пел на гармошке в день нашего отъезда на Московском вокзале. Страхов — его друг и почитатель. Волков же по этой части побил все рекорды. В его записной книжке стоят условные знаки: точки, нули, запятые, тире. Точка — это связь в единственном числе; запятая — дважды с одной и той же; тире — трижды; нуль — девственница. До того дня, когда нашу часть расформируют

за аморальное разложение, Волков доведет счет своих актов до 357.

Находясь в карауле разводящим, при проверке постов я часто задерживаюсь у Волкова на пятнадцать — двадцать минут. Он из города Пушкина. До армии успел жениться, детей не имеет. Волков бесхитростен, прямодушен и откровенен. Чувствую, что он мне доверяет полностью. Прямодушие его подкупает и заставляет верить всему, что он говорит. Много воды утекло, многое случилось в части за время моей учебы. Замечаю новое в поведении солдат: в караул по охране шахты или мужского лагеря идут с явной неохотой, по охране женской зоны — без особого желания. А вот в конвой охотно, а если с женщинами, то с радостью.

Вечером после ужина разбор службы, инструктаж и наряд на завтра. В роту доставляют заявки с перечнем работ и количество рабочих эков, название объекта и где он находится. Рота выстраивается в казарме. Выходит из канцелярии старшина с журналом и зачитывает наряд. Составляет его он сам, а утверждает комроты. «Городской стадион — начальник конвоя Яковенко». «Я», — отвечает тот. «С ним идут Сафронов и Петров. Строительство гинекологического корпуса — начальник конвоя Храпов». «Я», — отвечает тот. «С ним идут Цветков, Алексеев Иван, Никонов, Федотов».

Последним зачитывают конвой с женщинами. Наряд составлен еще до ужина. Журнал лежит в канцелярии на столе. Кому невтерпёж узнать, с кем он идет и куда, ловит момент, когда в канцелярии никого не будет. Быстро откроет журнал и найдет себя. Так сделал рядовой Печеницын, заглянул, теперь знает... На этот раз наряд зачитывает комроты. «Пынтили» по-прежнему не сходит у него с языка — он вставляет его всюду, вместо паузы или запятой, даже при докладе комполка.

— Трансформаторный киоск, пынтили.

— Я! — кричит, отзывается Печеницын.

Рота ржет. С этого раза к Печеницыну до конца службы прилипает прозвище Трансформаторный Киоск. Те, которые идут в конвой с женщинами, не устают прихорашиваться. Отрывают ленточки от простыней, пришивают свежие подворотнички, драят пуговицы, начищают сапоги. Уговаривают тех, кто в караул, поменяться на день старыми полушубками на более сносные. Перед эчками хочется выглядеть бравыми, чистыми и красивыми, даже в какой-то мере благородными. Нравственный, общечеловеческий закон морали и этики в отношениях

мужчины к женщине сильнее 58-й статьи (измена Родине). Обжигают руки карточки на зэчек и сроки в них. Десять лет — это что-то обычное, как седло на спине лошади, а вот 15 лет, 20 и 25 — это уже пугает, устрашает, отталкивает. Чувство это уродливое, скрюченное, отравленное ядом необъяснимой лжи. Гроза заключенных издеватель Миткалов уже у себя дома. Остался его преемник Юрий Храпов. Но в сравнении с Миткаловым он по жестокости что кочка с Монбланом. У Храпова та же слабость, что и у Миткалова. Он знает, что красив. Приемлет сладкую лесть. Самолюбование — его порок. Зэчки моментально чувствуют и распознают слабые места этого начальника конвоя. А ходит Юрочка только начальником. Как-то зимой он подмочил свою незапятнанную репутацию самым невинным образом. Споткнулся на ровном месте. Его и назначают в конвой, как правило, в Инту. На глазах работников политуправления должен стоять и нести службу образцовый конвой. Во время расчистки снежных завалов в городе Юрочка Храпов схватился с бригадиром зэчек. Можно ли это считать случайностью? Скорее наоборот. Завидев приближающегося проверяющего из политотдела, Храпов, как «положено», стал требовательно орать на бригадира: «Я вам приказываю расчищать проход шире!»

— Шире я разгребать не буду, незачем! Не на тройке ехать.

— Нет, будете!

— Нет, не буду!

— Нет, товарищ бригадир, по-вашему не будет! — рисуясь перед собой и проверяющим, чеканно ответил Храпов.

— Я протестую! — взвизгнула бригадир. — Гражданин майор, зачем он лезет ко мне, врагу народа, в товарищи. Я приношу вам свой энергичный протест.

В результате майор доложил в дивизион. Об этом узнала вся рота. Но на послужной список Храпова этот случай не повлиял. К очередной годовщине Октябрьской революции ему присвоили звание ефрейтора.

Теперь о рядовом Янковском. Он из Псковской области. Дома старушка-мать, вдова погибшего фронтовика. На фото у нее изможденное, усталое лицо в глубоких морщинах. Жилистые, натруженные крупные руки, гладкие, наверняка седые волосы. Сына ее, как-то проходя в столовую, подметил Батя. Заключенные женщины прокапывали, расширяли в глубоком снегу дорогу к казарме связистов. Конвоир стоял, как часовой у ворот Крем-

ля,— навытяжку, по стойке «смирно». Проходя назад через довольно длительное время, Батя обратил внимание, что солдат не менял позы, как стоял, так и стоит. Комполка был чутким человеком и почувствовал что-то неладное. Подошел к нему — Янковский представился. Батя сделал дружеское внушение, дескать, на одном месте стоять без движения незачем, пост у тебя подвижной ходи, передвигайся, согревайся. Янковский не сказал армейского положенного «слушаюсь», а только хмыкнул как-то в себя, уголком губ, и остался в прежней стойке. Зэчки прокопали дорогу и пошли дальше. Янковский потянулся за ними. На политзанятиях он перестал отвечать на вопросы, не знал ни одного из десяти великих сталинских ударов. Становился все более рассеянным молчуном. После конвоя забывал сдавать патроны, а утром получать их. Посоветовавшись с начальником санчасти майором Комадеем, комроты перевел его в ездовые. Ездить по утрам в Инту за командиром дивизиона, а вечером отвозить его. Лошадь и санки стояли во дворе автороты. Янковский запрягать лошадь умел. Ему даже завидовали. Но вскоре стали посмеиваться. В который уже раз приходит комдивизиона вдвоем с Янковским из Инты пешком. Янковский забывал привязывать лошадь. Она быстро приноровилась к этому и, чуть что, убегала в часть. Терпению майора пришел конец. Янковского обследовали и признали душевнобольным. Солдаты говорили проще — сошел с ума. Нам только что выдали новое обмундирование х/б — гимнастерку и брюки. Отрядили Никонова, солдата моего отделения, тоже из Псковской области, отвезти Янковского к матери. Вижу, старшина приносит старое, ношеное, в заплатках, правда чистое, обмундирование и подает его Янковскому. «Про запас», — сначала подумал я. Нет, заставляет его переодеться и сдать ему новое обмундирование.

Все во мне заклокотало. Я взял у Янковского х/б и пошел к старшине в каптерку. «Домой, к матери поедет в том, в чем есть,— твердо сказал я,— это возьми себе».

Волков стоит на посту у большого сарая, в нем интендантский склад, от дороги в десяти метрах. Я подхожу к Волкову. В затененной стороне нас не видно. По дороге на Западный поселок мимо нас проходит молодая женщина. Вдруг остановилась, расстегнула пальто, закинула на спину, присела. Послышалось журчание. Мы не выдержали, засмеялись. Волков шутливым голосом спросил:

— Не стыдно?

— Что естественно, то не стыдно, — ответила она невозмутимо.

Приехала она из России искать на Севере счастье. Было на ней драное пальтишко да стоптанные туфли. Теперь же она вся в мехах и золоте. Работает на шахте, поднимает клеть. Говорят, что прибарахлили ее зэки за определенные, недвусмысленные услуги.

Вскоре мы пошли в караул на шахту. Утром я во главе конвоя ожидал на вахте ночную смену зэков, чтоб отвести их в лагерь. Вижу, к вахте приближается она, но ведет себя более чем странно. Остановится, наклонится, схватит рукой горсть снега и в рот. Пройдет несколько шагов, повторит снова. Чувствуется, что у нее горит в груди. Прошла через вахту и на внешней стороне уселась на большой камень-валун. Дальше двигаться не могла — она изнемогала. Я вызвал «скорую». Ее отвезли в Инту в больницу. Подошедшая к воротам зоны бригада зэков, работавшая в ночь вместе с ней, рассказала: «Машинистка скурвилась, пришлось пропустить ее хорм, бригадой».

Волков утром другого дня в карауле, в часы своего бодрствования, тайком убежал к ней. Она жила в поселке вольных горняков, в километре от шахты и караула. Через пару часов он явился улыбающийся, довольный, как мартовский кот на масленице. Она безотказно приняла его. Ох, сильна баба, говорили солдаты про нее, ну и кузовок, задок так задок, ковшичком! Волков неприхотлив и неразборчив, действует по закону и инстинкту животного. Или по морали обывателей: каждую тварь на себя пяль — бог увидит, хорошую подаст.

У меня под конвоем бригада зэчек, в которой бригадир лицом похожа на мою мать. Я ее заметил, когда нас вели со стадиона, в первый день пребывания в части. Потом я ее видел много раз, когда стоял на посту у ворот части, у штаба. Ее бригада часто работала на территории нашего гарнизона. Думал, будет возможность поговорить с ней — поговорю. Было как-то стеснительно, неловко — стоишь на посту один, как на витрине, а ее бригада идет мимо, направляется в лагерь. Сотни разных глаз сверлят, перебирают тебя. Особенно самая молодая, и самая высокая и красивая, глядит страстно и нелепо, и ласково. Я тушуюсь, чувствую, как краснеют щеки. Наконец, они медленно проходят...

Мы пришли с зэчками на рабочий объект. Мужчины-зэки здесь работали раньше. Они вырубили подлесок, подготовили участок для постройки казармы. Женщины собирают ветки и сучья. Затем будут рыть обводные канавы. Бригадир сама, первая, выбрав момент, подошла ко мне.

— Начальник, я расскажу тебе то, о чем давно хочу сказать. Я знала, что в конвое мы когда-нибудь встретимся. Ты, конечно, помнишь нашу немочку, ту, которая была выше всех ростом?

— Помню ее.

— Так вот, она была влюблена в тебя и мечтала страстно отдаться тебе. Только молила этого случая, все надеялась и не дождалась его. Она отчаялась, когда ты пропал, думала, насовсем. Стала писать, добиваться перевода в другой лагерь. Она была немецкая колонистка, родители ее сопротивлялись высылке в Сибирь. Их развели, ее, одиннадцатилетнюю, отправили в лагерь малолетних, затем во взрослый. Она была девственница. Нисколько не сопротивлялась, когда ей предложил близость ваш с усиками.

Волков — сразу догадался я.

— Начальник, женщине труднее всего быть одинокой. Ведь она природой создана быть продолжательницей рода, рожать, принадлежать мужчине. Угождать ему, прислуживать, растить, воспитывать детей...

Два объекта рядом. Между шестым мужским лагерем и нашей частью. Один огорожен дощатым сплошным забором с вышками. На нем пожилые умельцы плотники-зэки доводят четыре, по две в ряд, новенькие казармы. Женская бригада по другую сторону забора вырубает подлесок. Готовит новую площадку для строительства. Конвой пребывает в полном спокойствии. Со стороны пожилых зэков женщинам оказывается ноль внимания. Они, кажется, больше влюблены в топоры, пилу и бревно.

Начальник мужского конвоя Волков. Он не стоит на посту на вышке, находится в конвойной будке. Обходя посты, он лишь подменяет того, кому по большой нужде приспичит. Конвойная будка на два объекта. В ней двое начальников конвоя. К будке подходит лисой бригадир зэчек. Заглядывает с улицы в застекленное оконце. Ее интересует не свой начальник конвоя, а тот, другой, Волков. Свой ее не устраивает. Чужой — да. Она открывает



дверь и говорит своему начальнику конвоя, но слова эти обращены к другому, к чужому.

— Я сейчас пойду в тот конец и прикину, на сколько часов осталось нам работы.

Сама смотрит в глаза Волкову и еле заметным движением головы как бы приглашает его за собой. Волков все понял. Ее начальник конвоя не сказал ей ни «да», ни «нет». Сидел и дремал. Бригадир ушла. Через несколько минут Волков отправился проверять посты в том же направлении. Леночка, так звали бригадира, стояла, прислонившись спиной к отклонившейся коряжистой болотной сосне. На земле было сыро, под ногами хлюп. Волков повесил карабин на сук дерева, подошел к ней вплотную. Она смотрела на него, не моргая, готовая на что угодно. Они никогда до этого не видели друг друга, не обмолвились ни словом. Волков даже не поцеловал ее красивое лицо. Приспустил галифе. Его белый зад сразу же густо покрылся клюквой. Хищные комары облепили его. Послышался голос приближающегося начальника конвоя. Волков и Леночка пошли в разные стороны, все так же молча.

Они еще раз встретились в другое лето. Волков бодрствовал в карауле, а Леночка-бригадир с бригадой чистила и углубляла кюветы. Волков увидел ее, а она его. Опять же без слов они поняли друг друга. Волков на виду у нее подался в подлесок. Тут же она обратилась к своему начальнику конвоя по нужде. Перешла через дорогу на другую сторону, углубилась в лес. Сгорая от счастья, она и он бежали навстречу в объятия друг друга. Здесь земля и густой мягкий мох были сухими... Время! Время, оно неумолимо бежит, вот уже слышно, как начальник ее конвоя аукает, приближаясь к ним. Нет, они не разбежались, предчувствуя, что это их последняя встреча, последний счастливый миг любви. Они еще теснее прижались друг к другу. Начальник прошел совсем рядом и не заметил их. Теперь он стал удаляться, и в голосе его чувствовалась тревога. «Подумает, побег», — сказала она. Все. Они встали. Леночка поцеловала его. Ты хороший, и ты хорошая. Рука ее выскользнула из его рук. Леночка заспешила. Через несколько минут она была в бригаде, раньше начальника конвоя.

Романов, он мой подчиненный, — автоматчик. После конвоя прилежнее всех чистит оружие. Гимнастерка снята. Нательная рубашка без пуговиц обнажает узкую грудь без рельефных мышц. Рукава у рубашки закатаны высоко. Пальцы и руки в масле. На табурете лежит

и свисает до пола пакля. Он усердно, в который уже раз наматывает ее на шомпол, мочит из масленки щелочью. Туда-сюда... Будет долго чистить, драить ствол автомата, заглядывать, прищурясь, в него. Пока я не скажу ему, что скоро на ужин. Пальцы рук у него нежные, как и он сам. Талия у него такая, что позавидует иная девушка. Чистит оружие, а сам в глубокой озабоченности. Иногда настроение его резко меняется — это после хорошего письма из дома, но ненадолго. А ведь мы все помним, какой он был веселый, смешной рассказчик. Около него собирались любители пошутить, поскалить зубы, потравить о том, что было и чего не было. Все мы знаем, что он из Боровичей, где и кем работал. Что у него хорошенькая жена и двое симпатичных детишек, мальчик и девочка. Раньше, часто, не стесняясь других, он любовался семейной фотографией, предлагал посмотреть другим. Теперь нет. Из темно-карих глаз не уходит затаянная, встревоженная грусть. Стал молчалив, замкнут. Это уже дурной признак, предтеча несчастья. Взвод заволновался. Все сочувствовали ему, а в чем дело, не знали. Пришлось по-мужски, откровенно поговорить с ним.

— Володя, — сказал я ему, — ты знаешь, что со мной можно.

Мы стояли между рядами кроватей, лицом к лицу, глаза в глаза. Я нарочно выбрал момент, когда рота ушла в столовую. Избежать ответа или отвернуться было не просто. Глаза его увлажнились. Дрожащей рукой он растегнул карман гимнастерки и подал мне сложенный вдвое затертый конверт с лохматыми краями. Письмо было маленькое, лаконичное, анонимное. В нем говорилось: «Володя, и году не прошло, как твоя Шурка стала вилять хвостом с твоим приятелем Васькой Заболотинным. Думай сам». Под письмом ни числа, ни подписи.

— Ну и что же ты думаешь? — спросил я его.

Он поднял одно плечо выше другого и опустил голову.

— Злым людям, а таких, сам знаешь, сколько, доставляет радость чужое горе. Эту писульку отправил лиходей или поганка ничтожная. Не бери это прямиком к сердцу, пока не узнаешь правду. Пойдем ужинать.

Я сделал так, как и обещал. Никому ничего не скавал. Но от помощи товарищу не отказался. Мне пришла в голову дерзкая мысль, я обкатал ее со всех сторон, во всех вариантах, и постепенно она мне показалась здравой и реальной. Пойду самолично к Бате. Не к комвзвода, не к ротному, не к командиру дивизиона, а к компол-

ка, минуя бюрократическую лестницу. И вот я в штабе полка. Часовой у знамени не остановил меня. Прошу обратиться по служебному вопросу. Батя вскинул брови и сделал удивленное лицо:

— Ко мне если когда и обращаются сержанты, то только по личному.

— Товарищ подполковник, я не за себя пришел к вам, за своего подчиненного. Гибнет солдат, отец двоих детей.

— Как фамилия солдата?

— Романов Владимир.

— Что у него? — он взял в руки авторучку.

Я рассказал все, что знал.

— Молодец, сержант, что заботишься о своих подчиненных. Можете идти.

— Служу Советскому Союзу.

Удовлетворенный душевно, я моргнул часовому у знамени и, не чувствуя ног, полетел в казарму. Через три дня капитан Минеев зачитал перед строем приказ: «Рядовому Романову за образцовое несение конвойно-караульной службы объявить, пынтели, домашний отпуск десять суток без дороги. Командир части подполковник Банденюк, пынтели».

Коротки сборы у солдата. Володя не ликовал, собираясь в отпуск. Боялся. А вдруг в письме правда? Вернулся он прежним Романовым. Письмо оказалось чистой напраслиной. Отпуск успокоил его, придал сил. Благополучно дослужил он еще год и восемь месяцев.

Меня раздирает сомнение. Я не только умом осознаю, но и сердцем, душой чувствую глубочайшую политическую и социальную ошибочность и несправедливость. Какая необходимость брать под ружье в мирное время женатых парней, имеющих детей, на срок три года восемь месяцев. Почему бы не отпустить его домой сейчас, после двух лет службы? Дома одна жена с двумя детьми, да еще на тяжелой работе, на керамическом заводе. Безнравственно? Нет! Хуже! Это полное пренебрежение к человеку. Подлое унижение его человеческого достоинства под лозунгом «Служба в Советской Армии почетная обязанность каждого гр. СССР». Бесчеловечный, преступный закон, равного которому нет ни в одной армии мира. За всю службу солдату не положен отпуск.

К солдату Мирошниченко на недельку приехала с Украины жена за две тысячи километров. Мы ей сочув-

ствуем. Ей негде переночевать, а его не освобождают со службы. Пускают к ней только после прихода с конвоя или караула, и то только до отбоя. Меня поразило еще одно, случайно увиденное. Войдя в туалет, я увидел Мирошниченко, занимающегося онанизмом. Вчера он пришел от жены и сегодня вечером пойдет к ней.

Начальник санчасти майор Комадей ходит по ротам. Он пытается предотвратить солдат от дурной привычки (любить Дуньку Кулакову). Зрелище трагикомичное. Опьяневшие солдаты лежат на койках, совершенно утратив чувство стыда и приличия. Расстегнув штаны, зажав в руке предмет удовольствия, работают.

— Прикройте хотя бы простыней этих, это безобразие, — говорит он.

Всегда после посещения Комадея нам в кружку с чаем бросают крупную красную таблетку. Говорят, от «сухостоя».

Как-то зимой, вернувшись из туалета на улице, капитан Минеев приказал старшине построить личный состав.

— Предупреждаю, пынтили, — изо рта комроты вылетали белые брызги слюны, — если увижу или узнаю того прохвоста, пынтили, за себя не ручаюсь!

Предупреждение было серьезным. Капитан был крут. Нравственное воспитание, подобное тому, что весьма неэффективно исповедовал старший лейтенант Дзеженко, комроты не пользовал. Кулак — вот его кредо. Зэки — отличные плотники. Туалет возвели на славу. Высоко в стене широкое застекленное окно. Так вот, какой-то мерзавец, по словам комроты, умудрился его «засцять», нарисовать на замороженном стекле узоры...

Доводили, дразнили солдаты и грозу зэков оперативника Особого отдела Дурдадымова. В столовую выделялись заготовщики, они заранее накрывали столы. Часто случалось так: приходим и видим не на столе, а на потолке плоские алюминиевые тарелки, наполненные горохом. «Диверсанты», как выражался Дурдадымов, запускали их вдоль потолка, и летающие тарелки прилипали к нему вместе с горохом. За все случаи таких диверсий Дурдадымову ни разу не удалось обнаружить виновников.

Вместо лейтенанта Рыбкина прибыл новый лейтенант. Мы были в карауле по охране мужского лагеря. Стояли лютые морозы за пятьдесят градусов. На посту на выш-

ке выручал тулуп и его высокий воротник. Поднятый, он спасал лицо от обморожения. На себя навьючивали все: нижнее белье х/б, ватные брюки и фуфайку, шинель, шубу и поверх тулуп. Стоя в валенках, надо было четыре часа отбивать чечетку. Оружие держать в руках просто невозможно. Оно в ближнем углу на вышке. На посту никто не обмораживался, а вот сменившись, идя с поста в караул, — многие. И слабого дыхания ветра было достаточно, чтоб на щеках, лбу, носу и подбородке появился темный блин. Заменять обмороженных солдат приходилось нам, сержантам.

Шерсть у сторожевых овчарок поднялась дыбом. Они тоже мерзнут в своих конурах на блок-постах. Лагерь как будто вымер. Нет-нет да крикнет ружейным выстрелом разорванное морозом дерево. Гулко трещат и столбы вышек. Страшно и жутко порой одному на посту. Иногда покажется, почудится, что за спиной по лестнице, бесшумно подбирается к тебе с ножом коварный зэк. Заставишь себя обернуться, подойти и посмотреть вниз на лестницу. Но это так, на всякий случай, делать-то нечего, а время убивать надо. Разумом понимаешь, что это маловероятно. Клянешь кого-то там, наверху, на вершине пирамиды ГУЛАГа, того, кто отнял у нас четырехсменный пост. Стоять по три часа вместо четырех значительно легче.

В карауле ЧП. У нового лейтенанта во время сна (здесь, в этом карауле, нет отдельного помещения для офицеров) сняли с руки часы. Он подавлен.

— После этого, я не могу быть в вас уверен. Поймите меня правильно, в минуту опасности кто-то из вас может предать.

Часы украли. Несколько раньше украли часы и у меня. Жена прислала мне новенькую «Звездочку». Уходя в баню, я положил их в тумбочку... Теперь она прислала мне «Победу». Часы в банный день сдаю старшине. Дневальный по роте и истопники назначаются из отсталых или слабых здоровьем солдат. Кроме этого, они моют полы. Им помогают солдаты, получившие наряды вне очереди. У них находится время поиграть в домино. Они подчинены дежурному по роте. Иногда мне приходится разнимать их или усовещивать. А сегодня они сами разошлись мирно. Казах Кошимбаев, маленький барабошка, вечно сопливый и рот нараспашку, и карел Свиридов, рыжий детина, играют в домино. Сидя за столом, друг против друга. Кошимбаеву подперло чихнуть, и он, не успев отвернуться или не посчитав нужным это сделать,

густо обдал содержимым своего носа лицо Свиридова. Тот матерно крепко выругался, отхаркнул в ответ из носо-глотки бархотку и залепил плевком глаз Кошимбаева. Я подошел к ним, когда Кошимбаев беззлобно ржал и утирался кулаками. Взгляд мой упал на стол, за которым они играли. На черной его крышке лежало множество рыжих волос Свиридова. Так сильно у некоторых из нас лезут здесь волосы. Значит, не только восемнадцать процентов кислорода не хватает здесь, но и еще чего-то.

Совсем плохо на вышке стоять без часов, а они продолжали пропадать. Старшина роты придумал: чтоб часы в банный день не крали, надо отдавать их дневальному. Так и сделали. У тумбочки дневального вбили большой гвоздь и повесили на него кожаный ремень. Каждый, уходя, пристегивал к нему свои часы. Огромная баранка их висела на стене. Рядом с ней стоял и улыбался Кошимбаев. Все шло хорошо, старшие говорили спасибо, молодец, дельное придумал. Кабы однажды, уже весной, не случилось очередное ЧП. На сей раз похитителей было двое. Кошимбаев от тумбочки и от часов не отходил. Пришлось его отвлечь. С улицы в сушилке разбили стекло, звон его привлек дневального. Он ушел с поста взглянуть, что там произошло. А когда вернулся, связки с часами не оказалось. Выбежал на крыльцо — никого. Стал звонить в штаб: «Тревога!» — «Что случилось?» — «Много часов пропал!» Ни часов, ни воров не нашли.

Железнодорожный караул тяжел и опасен. В него, как правило, назначают здоровых и лихих добрых молодцов. Попотеешь делать досмотр груженых углем пульмановских вагонов, как и платформ, груженных глыбами породы. Ключев и Страхов рвутся в опасный караул. Другие, наоборот, боятся ответственности. В считанные минуты загружаются углем вагоны под бункерами. Затем паровоз вывозит их через ворота за зону. Начинается проверка. Уголь на всей площади вагона протыкается трехметровыми щупами до дна. Одновременно идет досмотр паровоза, тендера и колесной подвески вагонов. Заключение наблюдают за конвоем, изучают его. Кто халатничает, у того и совершают побег. Заранее приготовленным ящиком накрывают заключенного, он лежит на полу, который до этого пропилили, сверху ящик засыпают углем. В пути он выбивает днище и оказывается на свободе. Караулу известен и другой прием совершения побега. Отверстие в тендере, куда заливают воду, заде-

лано решеткой. Зэки выпиливают ее, залезают в тендер, наполненный водой, затем решетку приваривают на прихватках для видимости. В пути он выбивает ее и бежит. На пути сбежавших зэков непреодолимой преградой стоит кордон в Котласе. Если знают, что заключенный сбежал с зоны шахты, то наверняка эшелонам. Тогда в Котласе, если зэк не сбежал в пути, ему не уйти — его там обнаружат. Генеральный шмон исключит побег.

Я тоже назначаюсь начальником на железнодорожный пост. В помощь себе беру солдат из своего отделения. Они добросовестны и при досмотре дрожат за себя не меньше меня. На одной из платформ заминка. Щуп не доходит, не идет до дна. Крупная темно-зеленая базальтовая порода, глыбы ее смерзлись. От спин взмокших солдат валит пар. Не дай Бог, придется разгружать платформу лопатами. Алексеев Иван бурчит, Николаев зло чертыхается. Успокаиваю их, побега быть не должно, потому как платформы простояли на улице всю ночь. Зэк превратился бы там в ледышку. Но это их нисколько не успокаивает. Они шуруют щупами. Я осматриваю паровоз. Машинист — зэк, он молод, но отсидел уже восемь лет из десяти. Освобожден условно-досрочно, из-за нехватки машинистов. Об этом я узнал позже. Почему-то чугунная круглая дверца топки открыта до упора. Во чреве паровоза бушует раскаленное огнедышащее пламя. Вспомнил о Сергее Лазо, каково ему было гореть в топке. Жутко! Вдруг сзади совершенно неожиданно сильные руки клещами обхватили меня. Жду удара по голове или ножа в бок. Вместо этого руки расцепляются, я вижу оскал зубов машиниста, он смеется. Рука моя тянется к кобуре нагана.

— Начальник, я пошутил, — торопится оправдаться он.

Будь я корыстный человек, застрелил бы его и поехал в отпуск — я имел на это полное служебное право. Но я не убил его — что-то дало мне повод подумать о ненормальности его психики.

Обыскав паровоз и тендер, я решил спрыгнуть с него на платформу. Прыгнул, но не достиг ее. Край полушубка зацепился за выступающий рычаг ручной расцепки. Я описал в воздухе полукруг и приземлился на сцепку, чудом не выбив зубы. В последний момент среагировал — выставил руки. На корточках прошел под платформами. Я знал, что искал. В прошлый раз, осматривая заходившие в зону вагоны, я нашел под днищем клубок писем с детскую голову. Нашел их и в этот раз, даже не в одном месте. Передача информации зэками отлажена четко. Они



знают все обо всем. Прибывает ли в лагерь стукач, подсадная утка, провокатор — им уже наперед известно. Недавно прибыла в женский лагерь заключенная с грудной малолеткой. Привезла с собой полторы тысячи писем сразу. Где и в чем их только не было. Ими было буквально напиговано детское одеяльце. Письма написаны на папиросной бумаге. В волосах матери, в ушах ребенка и еще кое в чем. Опытные надзирательницы распотрошили ее, не оставив без внимания и ребенка.

Все нормально у нас с досмотром, на дне пола платформы оказалась глыба. Оправдался и мой прогноз насчет того, что не все дома у машиниста. Весной, когда зазеленела тундра и появилась трава, армейские кони паслись у железнодорожной ветки. Высота насыпи была ничтожна. Насытившись, табун гулял по полотну дороги. Машинист поезда отлично видел их. Вместо того чтоб снизить скорость, надал еще пару, подсвистнул. Лошади-битюги, задрав хвосты, понеслись вперед. Машинист играл с огнем. Впереди пролежала неглубокая протока. Через нее были перекинута балки, на них лежали шпалы. Припертым лошадям деваться было некуда. Торможение не помогло. Тринадцать животных были помяты, срезаны. Виновника-машиниста судили. Срок не добавили, а иск присудили огромный.

Открыл я для себя загадку с Ключевым и Страховым. Однажды случилось так, что мы были в одном карауле. Я вел со смены часовых. У ворот давно уже стоял паровоз с вагонами и ждал досмотра. Машинист подавал длинные гудки. Заспанный Ключев со своей командой вышел наконец из караула. Не доходя до эшелона, дал знак часовому на вышке пропустить. А часовому что, приказ начальника — закон для подчиненного. Паровоз и вагоны понеслись в ночную морозную мглу. Ключев перекрестил уходящий состав и пошел досматривать сны. Так вот почему он напрашивался на линейный пост, надеялся на русский авось: авось пронесет. Риск — благородное дело! А что, если бы составом выехал зэковский десант — и с ходу взял бы штурмом штаб полка со знаменем. А такое могло бы случиться.

Теперь, когда я сержант, я уже не рабочий по кухне, а дежурный. В столовой есть офицерский зал. Офицеров обслуживает выделенный солдат в белой куртке и колпаке. На стенах большие картины. Рисовал их зэк. Исполнены они ярко, живописно, и темы их традиционны. Две

же — на военные темы. Копия «Теркин на привале» (худ. Непринцев) — тут все понятно, без разночтений, а вот «Партизаны в Брянских лесах» — это тонкий подвох заключенного художника. На полотне изображена партизанская идиллия — она глубоко пародийна по своему политическому и нравственному смыслу. Художник тонко, завуалированно подрывает, высмеивает, дискредитирует партизанское движение. Две партизанки, импозантные, как куртизанки, улыбающиеся, счастливые, сидят в седлах, без оружия, на боку у них санитарные сумки с крестом. Волосы у них, рассыпаясь волнами, спадают ниже плеч, почти как у «Всадницы» Карла Брюллова, только без панталонов и кружев и породистой заморской собачки. Их кавалеры гуськом ведут лошадей за поводок. Правда, на груди у них автоматы. Куда они везут своих дам, для чего? Все дышит близостью и любовью.

У старшины Минькина преотличное настроение. Я получил на складе 24 кг колбасы. К обеду они усохли до 16 кг. Ключи от кладовой только у меня и у главного повара. Но, конечно же, туда может зайти и завстоловой. Я к колбасе не прикоснулся, следовательно, к краже не причастен. Но косвенно виноват и это осознаю. Заяви я об этом, ну и что бы изменилось? Да ничего. Уже заявляли, и не раз. Виноватым оставался тот, кто заявлял. Система воровства и порочной круговой поруки поразила и армию. На центральном складе работает кладовщиком здоровенный солдат-украинец. Этот амбал предлагает каждому спорить на сто рублей, что он, не сходя с места, съест 3 кг сахарного песка. Спорит и выпаривает. Я помню о том случае, когда погибли пятьдесят семь солдат. Минькин обещал мне рассказать о нем. Жду момента разговорить его. Вот он, кажется, наступил. Старшина накладывает на хлеб слой свиных шкурок. Поблескивает плохо соскобленная щетина.

— Товарищ старшина, как же все-таки могло случиться такое?

— Как же, как же? Раз случилось, значит могло. Ходили и раньше, да такого не было. А вот ты скажи, — обратился Минькин ко мне. — Почему зэк бежит, когда ему до звонка три месяца остается? Не знаешь? И я не знаю. Когда его поймали — то спросили. Он говорит: не могу сидеть больше, девять лет и девять месяцев отсидел, а три месяца досидеть не могу, хоть убей. Наверно, и у тех накипело, выместили они на голых свою злобную

обиду. Заморозили баню. А с такого мороза как без нее? Ведь больше взвода пошло. Кто думал!? А они думали, ножи да пики понаделали. В разгар мытья и ворвались, набросились так, что всех до одного перерезали. Переоделись в ихнюю форму, сбоку старшина идет, ведет как положено. Идут на вахту, а те там ротозейничают. Двери открыли, они и их на тот свет. Ворвались в караул и там всех перебили. Вооружились, часовых на вышках поснимали, всех, кроме одного. Открыли лагерные ворота. Провозгласили свободу всем. С пулеметами, автоматами, с гранатами да с винтовками сто семьдесят человек ушло, а было три тысячи. Остальные не пошли. Что ты думаешь, дальше было? Вызвали самолеты и всех до одного на белом снегу, как волков, уложили.

В хорошем настроении Минькин встал, на этот раз он был в шинели. Достал из раздевального шкафа кожаный потертый саквояж, похожий на раскормленную таксу с лапами врозь. Уже одетый, глотнул крепкого чая и, крикнув, заскрипев бурками, тяжело пошел к выходу.

После двух лет службы в сознании и психологии солдат стало происходить странное. Каждодневная отупляющая система политзанятий вызывает ответную реакцию. Удручающее зрелище. Взвод, сбившись тесной кучей, сидит на табуретках, перед солдатами офицер с указкой. У него под носом импровизированная трибуна — тумбочка, на ней конспект. Рядом на спинке кровати подвешена карта СССР. Комвзвода толдонит о преимуществах социалистического строя, о великих достижениях за период Советской власти колхозов и совхозов. Отрывает глаза от конспекта и видит сонных, полных безразличия подчиненных. А у самого длинного Сидоркина глаза закатились — остались одни белки. Лектор стучает указкой по тумбочке. Мало. Вздрогнули и опять отключились.

— Встать!

Кто встал, а кто еще спит сидя.

— Встать! Садись! Встать! Садись! Если вам неинтересно, что я читаю, сейчас буду делать опрос. Петров, покажите самую северную точку СССР. Да нет, вы не пальцем, вот возьмите указку.

Водит, водит высоко по белому, синему и голубому, но точки этой не найдет.

— Плохо, не знаете. Тогда покажите южную.

Петров прошелся указкой по вершинам Кавказа, по пикам Каракумов и замер в центре красной звезды.

— Что вы показываете?

— Южную точку.

— Садитесь. Я вам ставлю плохую оценку.

Нас, сержантов, вызывают в штаб дивизиона на устный семинар, который будет проводить заместитель командира по политчасти майор Голубков.

— Товарищи сержанты, закройте ваши тетрадки, записывать ничего не будем. Вы знаете, как упала в части дисциплина и продолжает падать. Мой вам совет, берите на заметку всех крикунов и недовольных. Как пресекать им языки, чем влиять на таких, вам дано полное право. Лучшее средство отвлекать их от дурных занятий — это загрузить работой, занять любым делом. Не оставлять им время для раздумий. Вышла пауза — чтоб не слонялись, организуйте проверку оружия, личных вещей, заставьте перешить бирки, произвести помывку полов. Если и это не поможет, у вас есть право поставить таких на двухсменный пост. Постоят — утихомирятся. А то ведь что придумали — в роте капитана Минеева сложились и купили самый дорогой приемник. Радио им, видите ли, мало. Надеются по ночам Америку слушать. Я уже доложил об этом лейтенанту Дурдадымову. Придет, пломбу поставит и опечатает, пусть тогда попробуют. Соберутся в красный уголок, и вы туда к ним, чтоб побаивались языки распускать. Чем болтать, читайте им Уставы и наставления. Кто хочет из вас дополнить, внести свои соображения и дополнения?

Встает Миша Галкин:

— Товарищ майор, у нас на вещмешке того места нет, где бы не была пришита бирка, а разобрать оружие и собрать все делают с завязанными глазами. Полы от помывок не просыхают, постоянно в казарме сырость. Радио слушать надоело, хотят музыку, джаз, потому и купили приемник. Начнешь читать наставления и Устав, они говорят: закрой его. Там сказано: солдат за хорошую службу и поведение имеет право на увольнение из части, а нам его не дают. Всем, товарищ майор, глотку не заткнешь.

Голубкову вразумительно возразить нечем. «Все равно нельзя», — говорит он.

Солдаты не выдерживают, убегают в самоволку. Большинство упивается до бесчувствия, до поросычьего визга. Лезут в дома-шанхай, есть такие шалманы на окраине Инты. Это жилища вечнопоселенцев, бывших зеков. Сол-

дат там, конечно, не милуют. Да, собственно, и не за что. Пьяные лезут к женщинам и девушкам. За это и получают свое. Случается и забавное, и трагическое.

Солдату спустили штаны и разрисовали зад, на одной ягодице нарисовали Ленина, на другой Сталина. Другие, протрезвев, никак не могут вспомнить, где их покусали собаки. По осени пропал солдат. Мы его долго искали по всей окрестности целым полком. Не нашли... Собаководы-инструкторы натаскивают молодых собак брать след, преследовать и настигать зэка. Это зрелище нам, по правде говоря, надоело. Тявканье собак, их истощный захлеб, когда они видят убегающего. Настигнув условного зэка, солдата, одетого в ватный комбинезон с длинными рукавами, собака терзает, треплет его. Иногда собаководы уходят далеко в тундру, в предгорья Уральских гор. На те затаенные тропы, на которых солдатские посты должны перехватить зэков, совершивших побег. Пошли третьи сутки, а собаковод с собакой нет. К вечеру в питомник пришла истощенная собака с отгрызенным поводком. Как ни старались, как ни бились с ней, назад по своему следу она не шла. Тайна гибели солдата так и не была раскрыта. На него случайно, на второй уже год, набрел в тундре охотник-комик.

Случай же пропажи Хрулева из ряда вон выходящий. Женская зона по периметру представляла собой нестрогий прямоугольник. Со стороны столовой в зону вдавался сарай, бывший крольчатник. Место это часовыми с вышек просматривалось плохо. Работая на кухне, солдат выносил кости в сарай. Там ему и пришла в голову дерзкая мысль, что здесь можно пробраться в женскую зону. После обеда, заканчивая мыть посуду, наряд на троих раздавил бутылку. Хмель сделал Хрулева зверем (хмель шумит — ум молчит). Как волка тянет в овчарню, так и его потянуло к зэчкам в лагерь... Правда, волка гонит голод, а солдат был сыт и пьян и, как говорится, нос в табаке. Его влекла похоть. Незамеченным, на пузе, он преодолел все колючие растяжки и без робости вошел в первый, ближний барак. На его счастье в бараке были одни шныри да две освобожденные от работы зэчки. Его под видом недомогавшей уложили на нары спать. Прикрыли одеялом. Зэчки были шокированы и ждали скорейшего возвращения с работы подруг. Бригадир решил, как с ним поступить, она знает, что надо сделать. Одна за другой возвращались с работы в барак уставшие бригады. Бригадир, узнав о таком сюрпризе, хлопнула от восторга в ладоши и расцеловала дневальных. Дого-

ворились тайну не разглашать, хранить до конца. Краснопогоннику-чекисту Хрулеву создали режим наибольшего благоприятствования. С комфортом устроили постель под нарами. В углу отсека барака, ближе к бригадиру... Вопрос с калорийным питанием Хрулева был решен моментально и крайне положительно. Бригадир поделилась секретом с завстоловой.

В лагере среди зэчек были двое гермафродитов. Они ходили на работу за зону, и одну из них я наблюдал. Во внешности их было и то и другое: шея, скорее, мужская, волосы — по-женски. Черты лица женские, но голос мужской, и пробиваются, вернее, обозначаются усы. Походка и жесты грубоватые. В лагере от многих женщин я слышал жалобы, что им трудно без близости мужчин. Одна бригадир рассказывала мне, что в ее бригаде зэчка пыталась войти в половой контакт с гермафродитом. Ничего из этого не вышло. Измученные и разбитые, не получив взаимодовлетворения, они утром пошли на работу. Мужской отросток у гермафродита не больше мизинца и слабо развит, мягок и не упруг. Многие женщины в лагере занимались онанизмом. Раньше, рассказывала бригадир, применяли для этого теплые сардельки. Когда начальство узнало об этом, стали разрезать их вдоль. Тогда зэчки стали шить из капроновых чулок мешочки и набивать их кашей...

Многих бригадиров породнил за две недели солдат. А фавориткой все ж по праву была упитанная завстоловой. Называла она Хрулева не «мой милый», а «мой безотказный мерин», видимо, не зная, что мерин — это холощеный жеребец. Солдат же работал на износ. Но когда-нибудь тайное становится явным. В зоне стала ощущаться атмосфера некоей таинственности, пошел шепоток. Как магнит притягивает металлические опилки, крайний барак стал манить к себе зэчек. Трудно было скрыть внимание к нему, да и глаза выдавали зэчек. Надзирательницу насторожил этот всеобщий заговор непонятного ожидания. После развода она вошла в барак и пошла по отсекам, стреляя, зыряка глазами. Взгляд ее скользнул по носку солдатского сапога под нарами...

Так закончилась хрулевская «одиссея». Расценили его поступок как проявление животной страсти. Сколько-нибудь серьезно солдата даже не наказали, десять суток строгого ареста, и все. Политическому руководству части выгоднее было объяснить случай пьянством. По пьяни все может быть.

Однажды я стал свидетелем такой сцены. В курилке перед ужином расселись шестеро самых отпетых разгильдяев, вроде Ключева и Страхова. Они расположились вокруг табурета, на котором стояли две бутылки водки и кружки. Я оторопел, поскольку даже в мыслях не допускал, чтоб можно было вот так, днем, не таясь. Я был заинтригован и хотел увидеть финал. Уходить не торопился, мешкал.

В сушилку влетел взводный. У него буквально, как говорят, отвисла челюсть. Не сразу к нему вернулась речь. Наконец выдавил: «Безо-бра-зие!» Затем: «Встать, прекратить, выйти всем!» «Сам выйди вон, пока жив», — прошипел, вставая, выгибая руки кренделем и сжимая кулаки, самый здоровый из них. В поддержку решительно поднялись остальные. Старший лейтенант капитулировал. Он был щупл и самый старый из офицеров роты. Он благоразумно не вступил в схватку, почувствовал, что они готовы на все. Взводный не доложил об этом командиру роты, начисто замолчал проступок, как будто его и не было.

Командование контролировало атмосферу на грани взрыва и неподчинения. Раз в три месяца вынуждено было часть солдат отпускать в увольнение в Инту. Этому предшествовали гневные высказывания и недовольство военнослужащих. Были и угрозы: не отпустите — уйдем сами без разрешения, без увольнительной записки. К дню увольнений заранее готовились: многочисленный военный патруль для проверки увольнительных и задержания убежавших в самоволку, машины для доставки мертвецки пьяных в часть на губу. В Инте была гарнизонная гауптвахта, но ее не хватало. Кончалось всегда одним и тем же. Финал был предсказуем. На другой день, в понедельник, дивизион части выстраивают у штаба и личному составу объявляют приказ: за недостойное поведение в увольнении, за нарушение советско-воинской дисциплины весь личный состав дивизиона лишается увольнения сроком на три месяца. Под него подпадают и те, кто вел себя безукоризненно и явился в часть в своем виде и вовремя. Нужен был повод, а найти его можно всегда. Все эти драконовские меры озлобляли солдат, обезличивали их.

## 9

В полярный день, когда солнце почти не сходит с горизонта и освещение вокруг зоны отключается, зэк в оди-



ночку совершил побег. Побег дерзкий — из жилой зоны мужского лагеря. Часовой стоя спал на посту. Летом участок обзора увеличивается вдвойне, потому что снимаются зимние посты. Промежуточные вышки стоят свободными, на них нет часовых. Заключение, бывший фронтовик-сапер, умело преодолел предзонник, шатровую сеть и не где-нибудь, а прямо под пустой вышкой. Решение его было нестандартным, с первого взгляда — сродни поступку солдата Хрулева. Оно шло вразрез со здравым смыслом. Зэк не оставил после себя на полосе препятствий никаких следов. Аккуратненько поднялся на вышку и затаился там. Разводящий с часовыми затоптали след, собака его не взяла. На всякий случай зэка, в соответствии с положением, искали в течение трех дней. Затем им занялся всесоюзный розыск. О побеге стали забывать, как вдруг сенсация точно снег на голову... Заключение, просидевшего семь дней на вышке, случайно обнаружили связисты. В действительности информация оказалась вымышленной — он сам добровольно выдал себя. Семь суток измотали его физически, духовно и больше всего — психически. Он перегорел, истощился и ослаб. Это был первый случай, когда зэка не избивали, не опустили почки, не сломали ребра. Какой-то беззлобный побег, напоминающий апрельскую шутку...

Летом бывают дни, когда мы всей ротой уходим на природу, на армейские тактические занятия, во главе с комроты Минеевым. Роем ячейки, траншеи полного профиля и, конечно, ходим в атаку. Лежим на исходном рубеже. Рядом работают собаководы. Они натаскивают собак делать выборку. Собака ищет ту палочку, которую подержал в руках ее хозяин. Один из собаководов подошел к цепи лежавших солдат и положил некоторым из них под фуражки палочки. Хозяин собаки Некрасов дал команду: «Рэкс, ищи». Огромный псина мотался среди притихших солдат, обнюхивая их. Наконец, принюхался к вспылчивому Кириллову, разинул пасть и хапнул палочку вместе с фуражкой, выдирая волосы. Кириллов подскочил, завизжал от гнева, затряс автоматом: «Убью гада!» Но он бы этого не сделал, если бы даже очень хотел, — патроны у всех были холостые.

Рядом протекала река, тоже Инта. На большом привале кто не курил — купался. Река с каменистым дном. Пока остальные еще плескались, меня потянуло ощупать камни. В войну я страстно любил ловить под камнями

налимов. Я был немало удивлен и поражен такому обилию рыбы. Помню, дома сколько пересчитываешь камней в реке, пока поймаешь налима. А здесь! Под каждым камнем, где только есть пустота, прячется налим. Сломал ивовый прут и нацепил налима через жабры. Не прошло и десяти минут, как я наловил их не менее трех килограммов. Двух налимов вытащил Волков, солдат моего отделения. Налимы жирные, скользкие, коричневой окраски. Довольные, мы направились с рыбой к капитану Минееву. Он был удивлен и рад подношению. Скоро мы с ним распрощаемся. В армии готовится значительное сокращение офицерского состава. Какую-то смутную надежду, пусть призрачную, питаю на сокращение и я. Как-никак отслужено больше двух лет, плюс женат.

Старший лейтенант Дзеженко подавлен. Сокращение для него удар. Капитан Минеев знает, что сам он кандидат номер один. Его уже готовят к демобилизации. Мы тоже готовимся проводить его. Никто никого не подбивал, все вышло само собой, стихийно. Ни один солдат и сержант не пожалели денег на подарок капитану. Комроты пил, рукоприкладничал, но в душе не был подл. Человечность его чувствовали солдаты, их не обманешь. Уважение солдат к нему было велико. Осведомители донесли в штаб и в политотдел, что собрано три тысячи рублей. Пришел майор Голубков с представителем из политуправления. Те предложили раздать деньги и не делать подарка. В ответ им — собрали еще. Капитану Минееву купили и подарили золотые часы, ему и этого хватит, неровен час, махнет рукой и пропить сможет. А жену одарили и того роскошней: часы, серьги и кольцо, все золотое. Узнав об этом, приходили еще раз. Зависть к капитану не давала политработникам покоя.

Мы знаем, он отправляется в Костромскую область, председателем колхоза. Одно меня волнует, заставляет усомниться в правильности решения — то, что он пьет. А вдруг пустит колхоз по ветру? Кто пьет — тот, как правило, неуправляем. Вскоре капитан Минеев поблагодарил всех и покинул нас. Перед своим отбытием, находясь в карауле, заглянул в комнату приема пищи. Я встал, приветствуя его. «Все читаешь? — заметил он. — Да, Дмитриев, ты заслуживаешь отпуска, у тебя отличное отделение по всем показателям, пынтели. На этот счет есть положение. Я уже не успею тебе его оформить, пынтели, ты обратись к командиру дивизиона».

Я так и сделал.

— А как у вас прошли последние стрельбы?

— Все отделение, товарищ майор, стреляло на «отлично».

— Принесите результаты их.

Я принес.

— В таком виде домой вы не поедете, — сказал заместитель командира дивизиона. — Вам надо остричь волосы на два пальца. Сделайте это и представьтесь.

...Запомнилась навсегда Вологда с ее дорогами и грязью по колено. В Вологде пересадка. Толпа людей в очереди за билетами с криками, давкой и дракой. Один находчивый по головам людей добежал до кассы и гвоздем воткнулся в толпу. Невысокий крепыш-борец поднял на вытянутые руки задиристого, крикливого мужика, отнес в сторону и бросил в грязную канаву.

...Дома перемены. К жене в маленькую комнатку приехала на жительство мать с дочерью. В Нижнем парке Петродворца сфотографировались с женой на память. Видел митрополита со свитой, ведущего переговоры о передаче церкви духовенству с условием, что они ее отреставрируют и откроют в храме службу. Райком и исполком отклонили предложение.

Десять дней пролетели, как один. Снова я в части. Комроты — новый. Капитан по фамилии Скрипник. Лицо со следами оспы, глаза хитрые и недобрые, с лица не сходит лукавая улыбка. К солдатам относится с плохо скрываемым презрением. Они, похоже, отвечают ему тем же. «Рядовому Семенову за самовольную отлучку объявляю пять суток ареста». Вместо «Слушаюсь» Семенов бросает: «А еще нельзя добавить столько же? Хыть отдохну».

Чувствую всеобщее скрытое сопротивление новоприбывшему солдафону. За время моего отсутствия Волков влип в историю. Прямого наказания не понес, но перед строем его склоняют ежедневно. «Не делайте так, как Волков... Волков допустил унижающий нас, чекистов, проступок». Что же он совершил? Его назначили начальником конвоя. Бригада зэчек работала на погрузке гравия на самосвалы. «ЗИСы» делали довольно большие пробеги. День был жаркий, а конвой мягкий. Зэчки все больше обнажались. Волков выбрал себе из них избранницу. В ответ бригадир потребовала компенсацию в виде разрешения искупаться в реке. Волков разрешил. По женской части он был ненасыщен. Плескающиеся в воде зэчки вызвали у него самые положительные эмоции. Его подмывало искупаться вместе с ними, но, увы, это было невозможно. На нем были кальсоны, белые, с завязками.

— Начальник,— дружно звали его счастливые зэчки,— иди купаться с нами, иди к нам!

Волков дрогнул, развел руками, мол, извиняйте, я не при параде. Бригадир тут же нашла выход...

— Начальник, я тебе дам свои запасные...

Неосторожный Волков пошел за кустик переодеваться. В это время, сидя в кабине самосвала, приехал проверяющий. Его взбесила картина, которую он увидел.

— Где начальник конвоя? — кинулся он на второго конвоира. Тот показал глазами на куст. Офицер бросился за куст и увидел раздетого Волкова, влезającego в женские панталоны. Снятые солдатские кальсоны висели тут же. Офицер вошел в раж, поднял бучу и сам встал во главе конвоя. Бригаду снял с объекта и привел в лагерь. После этого Волкова стали изводить, и он не выдержал. Купил бутылку водки и взял с собой на пост, на вышку. Намерением выпить и застрелиться на посту поделился с Романовым. Романов доложил об этом мне. Вышка, на которой стоял Волков, находилась на территории части. Я, хоть и не был его разводящим, смело пошел на него.

— Гена, Гена, это я! — нарочито громко окликал его.

Он не отзывался. Я с предосторожностями поднялся к нему. Маленькую водки он уже успел выпить, а вот застрелиться не успел. Стоял отрешенно и горько плакал, по лицу обильно текли слезы. Больше часа пробыл я с ним. Заверил Волкова, что больше склонять и позорить его не будут. А еще подбодрил — скоро домой. Со старшим лейтенантом Дзеженко у меня взаимные уважительные отношения. Я поговорил с ним о Волкове. Обещание, данное Волкову, я исполнил. Больше его не склоняли, но и начальником конвоя не назначали.

На третьем году службы вспыхнула эпидемия самоубийств. Не проходило и месяца, а порой и недели, чтоб в части кто-нибудь не застрелился. Иногда стрелялись почти что коллективно, с разницей в день-два. Жестокость командования к оставшимся в живых самострелам вызывала в нас недобрые, гнетущие чувства. Один ходил на вышку, по сути, с одной рукой. Левая у него висела плетью. Очередью из автомата он не убил себя, остался жив, а вот рука... Второй задыхается, у него прострелено легкое, но и его не комиссуют — в назидание другим. Несколько десятков человек от постоянной простуды окончательно потеряли голос, сипят с большой натугой. У половины личного состава воспалены гланды, с переменной погодой болит горло, начинается ангина. Зимой в

сорокапятиградусные морозы нам в обязательном порядке приказали покупать в ларьке военторга пластмассовые упругие подворотнички и подшивать их. На тонких шеях некоторых солдат они не выдерживали мороза и ломались. Ношение в большие морозы личных шарфов не разрешается, расценивается как злостное нарушение формы одежды. На посты нам выдавали лысые шубы, в которых воевали солдаты времен Отечественной войны. Мы видели, чувствовали нелепость и неразумность многих решений и действий командования. Все они были не в защиту, а против нас. Офицеры ходили зимой в личных шарфах, закутывая от мороза шею. Нам — нельзя. Они ходят в полушубках, мы — в шинелях. Они получают сухой паек, а едят в солдатской столовой. Особый отдел и политуправление части понимают, что солдат рано или поздно прозреет. Не зря же солдаты уже не яросят, а, скорее, требуют принести дела на заключенных и зачитать их, ознакомить с ними.

Нас снедает любопытство, что же все-таки они за люди, ээки, за какие дела получили 10—15—20—25 лет? И вот под нашим давлением особисты приносят кипу дел. Открывают одно, перечисляют ряд фамилий, обычно три-четыре, под которыми скрывался осужденный. Полный букет самых разных статей и обязательно 58-я (измена Родине). Говорят: шпион иностранных разведок, заговорщик с целью свержения государственного строя в СССР, террорист, диверсант... и закрывают дело. Берут другое — то же самое. Третье, четвертое, пятое — все одного типа. Раздаются голоса: «Вы нам зачитайте прямо, что они такое сделали?»

— Кто хочет знать, что они сделали, тот пусть встанет.

Никто не встает. Особисты забирают дела и уходят. Точно такие же формулировки и по делам женщин. В каждого из нас невольно закрадывается сомнение. Каждый день вбивают нам в головы, что это страшные государственные преступники, особо опасные, совершившие страшные преступления, а зачитать хотя бы одно из них — нет, нельзя... Почему нельзя? — спрашиваем мы друг друга. Наверное, потому, что они нелепые. Догадываемся: не может человек быть особо опасным политическим преступником, если он безграмотен. Здесь что-то не то.

Я иду из Западного поселка с попутчиком — вольным шахтером. У него в руках мягкий сверток. Он словоохотлив и в хорошем настроении, и я не прочь поговорить. Когда поравнялись с мужским лагерем, он сказал:

— Десять лет от звонка до звонка оттарабанил я здесь.

— Послушай,— обратился я к нему,— скажи мне правду, ответь честно, по совести, ты уже вольный человек, и какой тебе толк лгать, а мне нужно знать все, как было. За что судили, в чем твоя вина?

— В плен попал я раненым. Очнулся у немцев. В лагере были наши врачи, вылечили, спасли меня. Из лагеря возили работать на завод и обратно. Освободили лагерь американцы. После конца войны передали нашим. Американцы говорили нам: не возвращайтесь домой, Сталин в Сибирь упрячет. Да где там, сомнения рассеялись, когда в лагерь приехали наши представители. Домой зовут — новую жизнь налаживать. Американцы раздели нас, откормили, отмыли, побрили. Так мы и до войны дома не жили, как у них в зоне. Я шоколада до них никогда в своей жизни не пробовал. Погрузили нас в товарный эшелон и прямиком в Коми АССР, в Печору. Следователя своего я никогда не забуду. Почему-то все они были, как черные вороны, в кожаных куртках. А мы их жертвы. По три раза в день вызывали на допрос, уговаривали признаться, показать, что сам, добровольно сдался немцам. Следователь так прямо и заявил: не признаешься — с голоду умрешь. Мы тебя ни бить, ни пытать не будем, сам признаешься. Восемь дней не давали еды, по лестнице подниматься не могу, держусь за стены, упасть и разбиться не дают. А он сидит в кабинете за большим столом, как будто рад мне. Ну что, сам сдался? Закипело все во мне от жгучей обиды, думаю: сейчас возьму у него на столе этот каменный, которым чернила промокают, и запущу в него. Беру прибор этот, говорю: пиши, сука, сам сдался,— а бросить прибор в него сил нет. Следователь, довольный, рассмеялся: ну вот и молодец, теперь жить будешь. Десять лет это не вся жизнь. Я тебе рассказал чистую правду, как перед Богом. Хочешь — верь, хочешь — нет, твое дело! Вот видишь, несу передать своей в лагерь два одеяльца. В универмаге в Инте купил.

Глаза его излучали радость, и сам он был исполнен гордости:

— Двойню родила, мальчика и девочку. Обманул я тогда конвой в женской зоне. За печкой, которую лежал на вахте, и полюбил я ее, почти на глазах у солдат. Ее мне в подсобницы выделили — кирпичи подавать да глину месить. Буду ждать ее, договорились так. Ей год и три месяца до звонка осталось. Двадцать лет на двоих!

— Выйдет, поженитесь?

— А что ж нам делать остается после того, что случилось, — уверенно и твердо сказал он.

— Ну, счастливо тебе, — я тут же поправился и добавил, — нет — вам, всем четверым.

— И тебе всего, дослужить скорей...

В солдатском клубе имеется библиотека. Я все больше склоняюсь к тому, что чтение художественной литературы в большей мере трата времени. Что для общего более полного развития надо читать познавательную литературу. Мною прочитаны многие французские просветители XVIII века. А ближе и понятнее всех философов — Гельвеций, а также русские демократы XIX века. Кумирами моими стали Белинский и Герцен. Много прочитано о зарубежной и русской живописи, о науке и ее творцах, изобретателях, о естествоиспытателях, о медицине, палеонтологии. Выбирая на полках книги, просматривая советскую поэзию, наткнулся на тонкую книжку одного грузинского поэта. Стихи его оглушили меня и потрясли. Я решил прочесть их товарищам. В роте, в присутствии солдат и Дзеженко, я громко, с пафосом — конечно, поддельным — восклицал, декламировал:

О Берия! — ты алмаз земли нашей!

Ты солнце наше — лучезарное, яркое, незакатное.

Ты родник живительный, ты молния очистительная!

Ты луч надежды и добра.

При жизни воплотился ты

В улицы, площади, памятники и города.

Любовь народа гордого к тебе, о Берия!

Не иссякнет никогда.

Вся книжечка стихов составлена из славословий, сравнений и аллегорий, безудержных, беспардонных восхвалений человека — выроodka рода человеческого.

Один из заключенных в мужском лагере как будто ждет смены часовых. Мы идем по мосткам, а он вровень с нами — в зоне. Идет и громко убеждает нас:

— Берия — враг народа, вот посмотрите! — Он сжимает кулак, поднимает руку и грозит ею: — Эй! Вы слышите? Берия — враг народа!

— Молчи, сука! — кричит ему Кириллов и наставляет на него автомат.

Зэк поднимает обе руки вверх, короткая серая рубаха его выбивается из-под брюк, виден голый живот. Нале-



тевший ветер раздувает ее пузырем. Он кажется нам сумасшедшим.

Со строительного объекта зэк совершил хитроумный побег. В промежутке между нашей частью и мужским лагерем строится несколько казарм. Весь день стучат там топоры и визжат пилы. Машина с прицепом подвозит строительный лес. Поперек машины ложится бревно-подкладка. Одни концы бревен лежат на нем, другие на двухколесном прицепе. После разгрузки леса это короткое бревно не выбрасывается, оно находится в кузове машины. Конвой привык видеть его. Зэки и воспользовались этим. Аккуратно, искусно, целиком сняли с него кору. В нее как бы завернули зэка. Отпилили два кругляша по торцам и кору скрепили. На выезде с объекта конвой оглядел машину, заглянул в кузов: одно привычное бревно, и поднял шлагбаум. Зэк в пути раздвинул кору и сбежал. Поймали его на вторые сутки, в поезде. Шофера, который его вывез, не судили, он бывший зэк, потому и отбрехался. «Я ничего не знаю, ничего не видел, — твердил он. — На то и конвой поставлен, чтоб проверять, а не вьюшками хлопать». Все правильно! После побега ведется усиленная обработка конвоя. Зэки как бы в ответ, в отместку, в зоне шахты 8-12 совершили массовое изнасилование работавших там вольных женщин. В утепленный туалет, построенный для них на улице, женщины ходят большими группами по пять — десять человек сразу. Как только они вошли, заключенные из засады ворвались в него. Оттуда раздались отчаянные вопли, крики о помощи, раздирающие душу. Я в это время вел сменившихся с поста часовых. Мы поравнялись с туалетом. Помочь им в беде мы не могли. В зону проход с оружием нам запрещен. Все-таки я снял автомат с плеча, это сделали и мои товарищи, и мы дали вверх по несколько коротких очередей. Прислушались. Крики утихли.

До этого мерзкого случая я спрашивал у вольных женщин, пытались ли зэки приставать к ним, преследовать их на производстве. Всегда они отвечали, что нет, не приставали. Зэкам ввели зачеты: за самый тяжелый труд день идет за три. Это тем, кто в забое, под землей в шахте выполняет и перевыполняет нормы. Есть и работы, где день за два. А вот кто работает на поверхности, тому зачетов нет. Зэки рвутся в забой, вкалывают по полторы-две смены. Появился шанс и с 25 годами выйти на свободу. В зоне в ларьке можно купить жратву, поддержать себя, восстановить силы. Зэки, как потом мы узнали, для изнасилования надели маски. Никого из них

не привлекли к ответственности. Никто из потерпевших не опознал насильников.

В нашем клубе в воскресенье состоится суд над разгильдяем, злостным нарушителем советско-воинской дисциплины солдатом-рядовым Лисочкиным. Его хорошо знают в части все — от солдата до офицера. Послужной список его впечатляет: 160 суток губы, он один из рекорсменов. Те, у которых перевалило за 180 суток, осуждены трибуналом в штрафбат. Несколько десятков солдат приближаются к этой черте. Лисочкин ловок на все руки. Он бессменный участник всех крупных представлений художественной самодеятельности. Лисочкин выступает во всех амплуа. Мне запомнилась последняя его шутка. Мы заполнили зал до отказа. Мест всем не хватало, стояли у стен в проходах. По ходу пьесы появлялась наивная девушка — ее играл Лисочкин. Он был тонкой кости. Занавес не был опущен, и мы видели, как актеры мельтешили по сцене. Время поджимало, а пьеса не начиналась. Раздались жиденькие хлопки, затем зал захлопал в ладоши. Вдруг, к изумлению всех, из-за кулис грациозно, на носочках выбежала хорошенькая девушка, ярко накрашенная, подвязанная платочком, с концами под подбородком. Встала, сложила ладошки по-индусски — лодочкой, затем повернулась, резко наклонилась, двумя руками откинула платье на спину и показала всему залу голый зад. Эффект был поразительный. Раньше других пришел в себя экспансивный Кириллов. Он в прямом смысле завизжал от ярости: «Ах, сука!» — рванулся на сцену и скрылся в боковой двери, куда только что юркнул проворный Лисочкин.

Так вот, командование решило убить сразу двух зайцев, наказать солдата-нарушителя и разыграть фарс о соблюдении революционной законности и уважении человеческого достоинства зэков. Нельзя же только говорить об этом и никогда ради этого ничего не делать. Лисочкин был начальником конвоя с бригадой зэчек в Инте. Зэки расчищали двор бани и относили мусор носилками, но не туда, куда приказал им начальник конвоя. Лисочкин ушел в баню и накачался там в ларьке пивом. Когда пришел, затеял с зубастой бригадиром перепалку из-за злосчастного мусора.

— Домой бригаду не сниму, — заявил он ей, — пока не сделаете по-моему.

Ссора перешла в ругань и во взаимные оскорбления.

Лисочкин вошел в раж и перегнул палку. Ударил подступившую к нему бригадира в лицо кулаком. Она завопила, заголосила. Проапеллировала к проходившему офицеру патрулирования. Раз это произошло в городе, в людном месте, об избиении зэчки конвоем узнал и заговорил весь город. Население «командировки», в основном бывшие зэки, требовали расследования и суда над начальником конвоя.

К концу дня лицо бригадира напоминало золотую осень. Багрово-синий подтек закрыл правый глаз. Криминал был налицо. На вахту лагеря вызвали дежурного по части. На Лисочкина составили акт. Суд должен быть показательным. Мы сидим в зале и ждем действия. Лисочкина уже привели с гауптвахты. Он сидит рядом в комнате под охраной своего бывшего товарища. Назначенное время давно истекло, а суд все не начинается. Майор Голубков подзывает к себе дежурного офицера и приказывает ему доставить пострадавшую в суд. Ее уже пытались доставить, но она наотрез отказалась, сославшись на то, что дала ложные показания. Зэчки быстро уловили и оценили ситуацию. Под видом защиты интересов зэков готовится расправа над солдатом. Бригадира под конвоем привели в клуб. Суд она в прямом смысле блестяще сорвала.

— Я сама, повторяю, я сама, подставила себе синяк, я упала на черенок лопаты, он меня и пальцем не тронул. Это я сама, еще раз повторяю.

Лисочкин тоже стоял на своем: не бил, не ударял. Инцидент был исчерпан. Лисочкина освободили.

Я снова задержался на посту у Волкова. Веду с ним приятельский разговор. Исподволь советую не пить, особенно перед вышкой. Он соглашается, а сам на посту спит. Алкоголь действует на организм не один день. Когда проверяю посты, меня как ножом резанет, если часовой не окликает привычным: «Стой! Кто идет?» Раз не окликает, значит, спит. Осторожно и тихо поднимаюсь по лестнице. Напрасная предосторожность. Волков спит так, что пляши — не услышит. Автомат стоит в углу — забирай его и уноси. Тормошу — не разбудить. Прошу соседних часовых смотреть и за его сектором. Проверяю полосу в его секторе обзора, все нормально. Прогнознув, Волков просыпается.

Такой был случай. Зэки захватили спящего часового с оружием. Затем разоружили караул. Под угрозой взяли

разводящего, а вместо часовых солдат — переодетых эков. Одного за другим бесшумно снимали эки часовых на вышках. А все потому, что те нарушали Устав. Ни один из них не действовал, как требовалось по Уставу. Часовые не спали и окликали: «Стой! Кто идет?» — И слышали в ответ: «Разводящий», — и все. А надо было часовому на вышке потребовать: «Разводящий ко мне, остальные на месте». Из всех часовых только один действовал правильно. Когда разводящий подошел к вышке часового, то крикнул ему: «Стреляй!» — и сам упал на землю. Часовой выполнил его приказ. Стрельбу слышали в части и подняли тревогу. Нападение эков было подавлено.

Пост у склада — это лучшее, что есть в нашей службе. Можно ходить, сидеть, расслабиться. Здесь, на этом посту, чувствуешь себя не солдатом, а колхозным сторожем. Желателен пост еще и тем, что близко от него проходит дорога. Автобусов в Инте нет, потому все ходят пешком, от станции до Инты и от нее до Западного поселка — 12 км. Видеть вольного человека, а особенно женщину, вдвойне приятно. Мы с Волковым видим: идет вдаль пара под руку, муж с женой. На ней белый берет. Идут по кромке дороги, ближе к обочине. Шофера-эки — адские водители. Как-то попросил одного подвезти до бани. Залез в кузов «ЗИСа»-самосвала, и на полдороги слез. Навстречу тоже неслись самосвалы, несколько не сбавляя скорости. На гравийной шоссейной дороге есть выбоины, вмятины, углубления. И вот два самосвала, поравнявшись, на большой скорости накренились один к другому, провалившись колесами в выбоину. Расстояние меж ними сократилось настолько, что борта заскрежетали. Я забарабанил по кабине. Шофер остановился. Я слез и пошел пешком. «Жизнь мне еще не надоела», — сказал я лихачу.

А сейчас несется солдатский джип, в машине двое сержантов. Они быстро приближаются к идущей паре. Вдруг происходит невероятное. По дороге, обгоняя джип, покатилося переднее оторвавшееся колесо, а сам он, скопившись на бок, стал переворачиваться. Несколько раз перевернувшись, машина оказалась за кюветом вверх колесами. На дороге недвижно, без признаков жизни, лежал спутник той женщины в белом берете. Она, побледнев, не могла произнести и слова. За канавой из перевернутой машины выбирались сержанты. Я принял решение

бежать за врачом. Наша армейская санчасть находилась в трехстах метрах отсюда. Запыхавшийся, я вбежал в кабинет врача:

— Доктор, на дороге у склада сбили машиной человека, он лежит там, помогите ему, окажите помощь.

Доктор, женщина средних лет в звании старшего лейтенанта, фронтовичка, не торопясь, вымыла с мылом руки, вытерла каждый пальчик в отдельности, взяла металлический сундучок и стала складывать в него инструменты.

Я переминался с ноги на ногу. Не в силах больше ждать, извинительно заметил: «Доктор, побыстрее, там человек лежит». Взял у нее из рук сумку и сундучок, и мы направились к месту аварии. Однако там уже никого не оказалось. Проходившая машина подобрала их. Волков добавил, что знал. Женщине повезло. Мужа машина оторвала от нее, а ее даже не зацепило. Но и мужчина, видно, родился в рубашке. На другой день я узнал, что он цел-целехонек, не сломал ни одной косточки и внутренности не отбил. После обследования его сразу же выписали. Хорошо, что хорошо кончается!

В прошлое лето зэк-лихач доигрался. Зэчки на гравийном карьере нагружали самосвалы лопатами. В промежутке между рейсами ложились в рядок и, сняв кофточки, в одних лифчиках, загорали. Подъезжая к ним на большой скорости, шофер резко тормозил и останавливался в метре от зэчек. Визжали тормоза — лихач чувствовал себя героем. Но вот на пятый или шестой раз у него трюк не вышел, тормоза отказали. Он проехал по женщинам, ломая ноги, раздавливая тазы, выдавливая кишки. Насмерть никого не задавил, но всех покалечил.

На переезде, где паровоз наехал на машину, снова ЧП. В армейскую столовую и в лагерную зэковскую возят в большой, очень длинной деревянной бочке с краном воду. Лошадь привычным, изученным путем мерно шагает без окриков и попуканий. Маленький раскосый солдат сидит и дремлет под самодельным тентом на облучке. Привычная для нас картина. А паровоз с платформами и вагонами то и дело проносится в зону шахты и обратно. На переезде только смотри. Был жаркий летний день. Лошадь привычно везла повозку. Как всегда, дремал возчик. И, как обычно, с грохотом вылетел из-за поворота паровоз. Лошадь поднатужилась и шагнула вперед. Мгновение — и от повозки остался только передок с облучком и возчик на нем под тентом...

В медсанчасти женского лагеря изнашивалась и вконец испортилась бормашина. Так вот почему у нас непонятное столпотворение. К нам в часть привезли лечить зубы у детей эчек из детдома, который находится в женском лагере. Дети никогда за свои пять-шесть лет не общались с мужчинами. Они, как дикие зверушки, набрасываются на нас. Целуют, обнимают так крепко за шею ручонками, что их не оторвать. Визжат, радуются, у них разбегаются глазенки от такого множества молодых и хороших пап. Мы их упоенно подкачиваем, бросаем высоко вверх и ловим, захлебывающихся от восторга и счастья.

У меня тоже появилась черная точка на боковом нижнем зубе. Взял направление и по увольнительной пошел в Инту. В поликлинике работает много эков. Врач усадила меня в кресло, но работала крайне плохо. То и дело убегала к врачам-профессорам, которым вменялось в вину отравление А. М. Горького. Их только что доставили под конвоем из лагеря. Я косил глаза на перегородку и видел этих тощих, высоких, не утративших хорошие манеры отравителей. Зуб она мне испортила основательно. Через три дня пломба выпала. Я пошел к ней опять; у нее опять были они, и она так же убегала к ним заговорщически шептаться. Из маленькой точки она мне рассверлила дупло. Зато я видел этих известных всей стране «врагов народа»...

В армии сокращение, а в политуправлении пополнение офицеров. Они прибыли из ГДР. Жены их внесли живительную струю в серый и скучный быт своих коллег. В клубе части организовали хор. Три раза в неделю репетировали. Мы с нетерпением ждали их концерта, но так и не дождались. В клубе была фотолаборатория, в ней работал ээк, выполнявший заказы Особого отдела. Утром его приводил конвой, а вечером уводил в лагерь. Днем присутствие его в клубе проверяла надзирательница из женской зоны. В видного красавца-ээка влюбилась одна из жен офицеров. Их знакомство началось с перефотографирования и увеличения старых фото. Она все чаще находила повод заглянуть к нему. Дней репетиций ей уже было мало. Она стала терять всяческую осторожность. Вскоре они вдвоем стали закрываться. Она все чаще и подолгу оставалась у него. Вспыхнувшая любовь к ээку была настолько сильна, что она ни в чем ему не противилась и не отказывала. Он снимал ее нагую, в раз-

ных позах изощренного секса. Фото проносил в зону и продавал за деньги как порнографию. Муж ее часто находился в длительных командировках. Четырнадцатилетняя дочь училась в школе. Поведение ее все больше настораживало надзирательницу. Все больше она убеждалась в их интимных половых связях. Зэк же, чувствуя полное свое влияние на влюбленную женщину, требовал от нее все большего. Он просил коньяк — она приносила его. Она все более теряла осторожность, и надзирательница решила действовать. Их накрыли с поличным в момент сладострастия. При обыске обнаружили коньяк, шоколад и фотографии, предназначенные для проноса в лагерь. Убийственные улики забрал лейтенант Дурдадымов. Лабораторию закрыли. Зэка отправили в лагерь. Хор и художественную самодеятельность прикрыли. Сенсация стала уже забываться, как вдруг ее отголосок потряс всю Инту. В гинекологическом корпусе, куда доставили эту женщину, случилась трагедия. Приехавший домой из командировки муж явился в больницу и потребовал, чтобы к нему вышла жена. С большим трудом ему удалось настоять на своем. Она подошла к двери, за стеклом которой стоял муж. Когда она подошла вплотную, он выхватил пистолет и всю обойму расстрелял в нее. Убил беременную, накануне родов. Что же будет ему за это, расстреляют или оправдают? — гадали офицеры и мы тоже. Все склонны были оправдать его. Однако же майора судили и приговорили к десяти годам условно. Он сразу же с дочерью уехал из Инты. Офицеры посмеивались: будет служить, как и служил...

## 10

Аргентинский шпион похож на Санчо Пансу, не зря его пытались вывезти в сундуке посла на аэродроме в Москве. Он энергичен и подвижен. Зэки работали на конюшне за сельхозом. Рядом начинался лес, а по другую сторону река Инта с заливными поймами и лугами. Островки вечной мерзлоты здесь встречаются редко. Земля на конюшне податлива, роется легко без лома и кирки. В пяти метрах от стен конюшни по периметру колючая проволока и две вышки. Охраняют заключенных всего двое часовых. Двое других во главе с начальником бодрствуют в маленькой времянке. Отличный объект для скрытого побега. Если прокопать тоннель длиною хотя бы в десять метров, то можно незаметно за спиной у часового вылезти наружу и уползти в лес, совершить побег.



Бригада эков-плотников внутри конюшни оборудует стойла. Конвой несет службу с большими нарушениями. До работы и после нее проверяет объект. Шпион с напарником работают в поте лица. Уже прокопано более восьми метров. Последние усилия... И вдруг новый конвой, совсем не такой, как предыдущий. До впуска на объект начальник конвоя с одним из солдат надолго скрылся на конюшне. Свежая земля, смешанная со щепками, насторожила начальника конвоя. Откуда она, что здесь рыли? Он пошел вдоль стен, оглядывая землю. Три кучи подтоварника, и все.

— Петров, — приказал он конвоиру, — разбрасывай эту, что меньше, а я займусь другой.

Так они обнаружили лаз-тоннель длиною в девять метров и предотвратили побег. Вызвали опергруппу. Приехал Дурдадымов. Раздосадованные виновники признались сразу. Больше аргентинского шпиона из лагеря не выпускали.

В лагере был еще один шпион, французский. Этот был решительно ни на кого не похож. Он выделялся из трех тысяч эков своей изящной, импозантной внешностью. Он был вылитый портрет кардинала Ришелье. Такая же острая бородка, усы, узкое аскетическое лицо. Это был лагерный демон. «Я сожалею тысячу раз, что поехал работать в вашу бедную, нищую страну», — говорил он конвою. «Я шпионил в США, в Англии, в Италии, по несколько лет в каждой, а вот в вашей раскрылся на третьем месяце. А все потому, что в вашей бедной стране нет светского общества. Я не смог перестроиться, привыкнуть держать себя скромно, на уровне бедности». Однако в Москве ему удалось склонить, это его выражение, а по-нашему — завербовать, нескольких видных женщин, в том числе жену известного киноактера Бориса Чиркова. Сделать что-то практически женщины не сделали, не успели. Дали им по 10 лет за то, что были они с ним знакомы, находились в его обществе. Этого было достаточно. Она шила в лагере бушлаты. Ей, балерине, можно сказать, повезло. За зону она не выходила. «Ришелье» органически ненавидел советский строй, карающую систему ГУЛАГа, вел открытую, крайне враждебную пропаганду против СССР среди эков. Сам саботировал работу и склонял к этому других. Преследовал тайно и явно тех, кто работал исправно. Высмеивал таких, называл рабами коммунизма. Любая бригада, в которую попадал «Ришелье», резко снижала выработку, производительность падала, и как следствие уменьшалась вы-

писка дополнительного питания в ларьке лагеря. Все это копило гнев эков против него. Выступить в открытую с осуждением его действий никто не решался. Все его боялись, и он всем стал нежелателен. Повод разделаться с ним представился. У «Ришелье» выявилась язвенная болезнь желудка. Лагерный врач, обследовав его, вынес заключение: нужна срочная операция.

К ней эки подготовились заранее. Во время операции вдруг везде погас свет. Не загорелся и дублирующий. Не оказалось ни фонарей, ни свечей. «Ришелье» умер на операционном столе. Его зарезали под видом трагического случая. Все, или почти все, были довольны таким исходом. Меньше лагерных заморочек — меньше головных болей. Спокойная, размеренная жизнь в лагере ценилась высоко.

Эмоциональный, взвинченный Кириллов, будучи на веселе, визгливо рассказывал на весь взвод: «Надо же, какая попала б... с колокольчиками. Не подмывается сука и ж... не подтирает. Ребята, залез к ней в штаны, а ноги у нее волосатые, как у грузина, мацаю рукой, а падаются в пальцы скатанные шарики, как горошины. Ох, думаю, сука же ты, грязная да немытая. Опротивела враз».

Кириллов вернулся от надзирательницы с женского лагеря. Как ни голодны были в этом смысле солдаты, а на надзирательниц не смотрели и знакомств с ними не заводили. Больше того, презирали. Почти все надзирательницы были из числа прожженных пройдох, прошедших огонь, воду и медные трубы. В России для них места и счастья не нашлось. Приехали попытать его здесь. «Дура-комьячка и то во сто раз приятнее», — заключил Кириллов.

Как-то зимой в сорокаградусный мороз я шел после дежурства в баню в Инту. Шел ходко и догнал в пути маленького роста хорошенькую девушку лет 16—17. Мне бросилось в глаза ее поведение, она шла и пританцовывала. На ногах ее были чулки и короткие, тонкие резиновые боты. У нее отмерзали ноги. Мы подходили к лесобирже. Из трубы будки конвоя вместе с дымом весело вылетали и гасли искры. Я взял ее за руку, она взглянула на меня и доверчиво улыбнулась. Безропотно она пошла за мной. В будке, разомлев от жары, расстегнув полушубки, сидели на лавках пятеро солдат. В «буржуйке» трещали и сипели дрова. «Вот здесь и отогрейся», —

сказал я ей. Она уже не слышала меня, она разглядывала солдат, глупо, широко, многообещающе улыбаясь им.

Вечером, перед отбоем, я услышал от солдат, что было потом. Она у них засиделась и совсем не противилась их настойчивости. Сначала пятеро, а потом еще двое отведали ее любви. Она была в Инте в няньках и, выкроив свободный часок, прибежала к солдатам. Часто я слышал в их разговоре: комячка-дура опять прибежала...

Побег! На шахте 8-12 побег. Пятеро заключенных не вышли на поверхность. Вольные инженеры подтверждают это. Заключенных в шахте нет. Из шахты выведены все заключенные и введены в нее краснопогонники. Они перевернули шахту и не нашли, не смогли найти тайный выход из нее. Теперь целый дивизион солдат со щупами обшаривает каждый метр земли. День за днем. Внимательно, не раз и не два, осмотрена и сама зона. Шатровая сеть, предзонник и смотровая полоса в неприкосновенности. Тогда снова искать. Окружность осматриваемой зоны все увеличивается. Не ангелы же они, не слетели с терриконника на крыльях. Снова тысяча солдат протыкает щупами землю. Щупы податливо идут в мох, затем в торф по самую рукоятку. И вот, наконец, один ударился, уткнулся во что-то твердое. Обрадованный солдат тычет рядом, опять твердо. Отпуск, обещанный отпуск, он думает об отпуске. К нему бегут с лопатами, разрывают мох и находят в нем пустую бутылку из-под водки. На поверхности, на свободе, эки выпили ее на счастье. Подо мхом и торфом вплотную положены дюймовые доски, они закрывают круглое отверстие — ствол шурфа-лаза. В диаметре он меньше метра. Восемьсот метров глубина его. Он идет наклонно под углом 30 градусов, с площадками-уступами через каждые 5—6 метров. Сколько же времени они рыли его? Год или два, прежде чем увидели свет? Сколько вложено, истрачено титанического труда, полного опасностей и сурового романтизма. Может быть, это и скрашивало им жизнь, придавало духовных сил, надежд. Расчет их оказался верным. Лаз вышел на поверхность в 25 метрах за самой высокой вышкой, названной «Галиной Федоровной». Убежали пятеро самых безрассудных и отчаянных. Ведь знали, что не было еще побегов со счастливым исходом, беглецов, которых бы не поймали. Может быть, это и манит самых храбрых испытать судьбу, поставить жизнь на карту, сломать нелепую

традицию, отнимающую извечную надежду арестанта на побег. Что значит для заключенного надежда? Это все. Еще Наполеон воскликнул: «Я ничего не потерял, кроме надежды». А это означало, что он потерял все. Лишить эка свободы — он будет жить, отнять у него надежду — умрет.

Розыскные собаки, естественно, след не взяли. Прошло три дня. По прошествии 10—15 часов собаки, как правило, не берут след. Беглецы держат путь на юг. Они предусмотрели главное: ноги их обуты в резиновые сапоги. Они запаслись спичками, сухарями, крупой и солью. Но в пути запасы их таяли в два раза быстрее, чем предполагалось. Ходьба по сырому, топкому мху пожирала их энергию и отнимала силу с чудовищной быстротой. На восстановление требовалась дополнительная пища. На случай голода у них была надежда на арбалет, который они сами сделали в производственной зоне шахты. Но зверь им не попадался. Они отпугивали его в тайге чавканьем ног и шумным дыханием. Только однажды, на шестом дне пути, они вышли на сухой взгорок, поросший березняком. Здесь им удалось подстрелить рябчика. Продукты кончились. Голод и усталость гасили, притупляли осторожность. Их неудержимо тянуло к жилью, к людям. Вот уже более полдня идут они вдоль берега безымянной речушки с темной болотной водой. Один из них отказывается идти дальше, просит оставить его. У него растяжение сухожилий. В глазах его обреченность. Он знает, что погибнет. Четверо отошли от него, постояли, поговорили, посоветовались, затем вернулись к нему. Он полужележал, опершись на локоть. Двое склонились над ним, один прижал ему руки, другой опрокинул его на спину и зажал рот и нос, двое других навалились на ноги. Удушив товарища, решили утопить его, тем самым развеять миф о невозможности побега. На живот, под фуфайку запихали камень и опустили мертвеца в воду. Поклялись ни при каких обстоятельствах не говорить об этом. Пусть будут бить, пытать, истязать, мучить, убивать, наконец, — они промолчат. Отстал он от нас, и все, обещал догнать и не догнал. Голод толкал беглецов к людям, но людского жилья и даже признаков его все не встречалось. Тайга казалась нескончаемой и необъятной. Еще трое мучительных суток провели они в дороге. Шли по берегу новой реки. Наконец заметили следы человеческой деятельности. Спеленное дерево, пни, затем следы гусеничного трактора. Каждый из них в душе уже расстался с мечтой добраться до границы и уйти за кордон. Голод, усталость,

крах надежд вызвали апатию. Им все равно, что будет с ними теперь, только бы скорей все это кончилось. Только теперь они поняли, что бежать можно лишь по железной дороге. А сделать это чрезвычайно трудно, почти невозможно. В Котласе идет повсеместный тщательный обыск с проверкой документов, сличением фото. Не зря для них избрали местом заключения гнилую тундру, простирающуюся на тысячи километров. Там же, где есть люди, есть и краснопогошники. Они знают: тундра и тайга неизбежно заставят беглецов выйти к ним. Они ждут. Из последних сил, еле переставляя ноги, двигались четверо в центр лесхоза, туда, откуда доносился желанный запах жилья и живительного хлеба. Они вошли в тесный сельмаг, опухшие, заросшие щетиной, искушенные и, не в силах более держаться на ногах, рухнули на пол. За ними пришел маленький тупорылый автобус. Под конвоем их увезли на допрос. Есть и пить не давали. Первый вопрос к ним был: где пятый? Все ответили: отстал. Допрос каждого поодиночке: как, при каких обстоятельствах? Все ответили по-разному. Вывод: ложь, неправда. Тогда вступает в права опробованный метод. Ты не хочешь сказать правду, когда твой подельник уже дал правдивые показания — раскололся. Ну, теперь ты признаешься? От твоего чистосердечного признания будет зависеть, жить тебе или умереть. Такая провокация проделана с каждым. Какой смысл упорствовать, терпеть новые страдания, когда уже все известно... Так, таким методом раскрывается преступление, которое они совершили во время побега. В запасе было еще несколько методов для чистосердечного признания. Самый верный и безотказный — физические пытки и истязание голодом, лишением сна. Теперь, сопоставив показания всех, обнаруживают истину.

Нас выстраивают и радостно объявляют: побег ликвидирован! Зэки сами вышли и сдались. Одного своего товарища задушили и утопили в реке, дабы доказать, что побег возможен. Но, как видите, от нас еще никто не убежал! Призываем вас еще бдительнее нести службу по охране особо опасных политических преступников. Майор Голубков не может скрыть счастливой, радостной улыбки. У нас праздник!

## 11

Такое вижу впервые не только я, но и мой конвой. Восемьсот тридцать зэчек, четвертая часть лагеря, у меня в одной колонне идет на объект. Девятнадцать солдат

конвоя. Колонна растянулась на добрых триста метров. Проходим через всю Инту. На площади в несколько гектаров мужчины-зэки отстроили за городом целый комплекс деревянных одноэтажных строений. Обнесли строительную площадку сплошным высоким забором. По всему периметру вышки. У ворот объекта конвой приставил ногу. Я с тремя конвойными обошел объект, отдавая дань конвойному правилу. Осматривать как положено, нам потребовался бы не один час. Расставив на вышки часовых, я запустил зэчек на объект. Нашего прибытия ждал гражданский прораб, чтоб дать задание совету бригадиров. У него пропуск на все объекты и броская фамилия Сирота. Он тоже, как и почти все здесь, — бывший зэк, отсидевший свой червонец, хотя и молод. Пользуется непрерываемым авторитетом у зэков, уважает его и лагерная администрация, в том числе и конвой. Я спросил его: что за нужда выводить на объект такое количество людей? «На благоустройстве территории работы всем хватит», — ответил он. Но это было не так — он устраивал женщинам праздник. Ломов, лопат и носилок не наберется и на сотню людей, чтоб задействовать их. А здесь их под тысячу.

Как только старший прораб Сирота покинул объект, ко мне в конвойную будку с охапкой колотых чурок явилась бригадир.

— Начальник, — весело, заигрывающим тоном, начала она, — кого прислать к тебе в истопники, у меня сегодня есть всякие, кого пожелаешь: историки, философы, филологи, певицы, танцовщицы, артистки легкого жанра.

Перечислила и весело смотрит мне в глаза.

— Пришлите ту, которая читает Маяковского, Есенина и чтоб «Москву кабацкую».

— Начальник, будет сделано, в ее репертуаре Блок и Ахматова.

Вскоре пришла робкая, застенчивая заключенная лет двадцати семи. Опрятно, чисто одетая, с красивыми чертами лица и большими темными глазами. Через плечо у нее перекинута санитарная сумка с красным крестом.

— Начальник, я санинструктор, пришла почитать тебе стихи.

— Вижу, что ты не работаешь ломом и киркой, — заметил я.

Она брала чурки длинными ухоженными пальцами и подкладывала их в «буржуйку». Как-то незаметно стихи отошли на второй план.

— Как тебя зовут? — спросил я ее.

— Урсула.

- Ты что, молдаванка?
- Нет, я немка.
- У тебя пятьдесят восьмая?
- Да.
- Десять лет?
- Да.
- Сколько еще осталось?
- Два с половиной.

Она села на скамью рядом с окошком и часто в него заглядывала. Урсула смотрела за дорогой и отвечала на мои вопросы.

- Почему ты немка?

— Мои предки приехали в Россию при Екатерине Второй. Мы жили в Поволжье. В начале войны нас выселяли в Сибирь, но меня родители упрятали, оставили у близких знакомых.

- Пятьдесят восьмую за это дали?

— Нет, не только. Во время оккупации я была еще девочкой. Староста нашего села узнал, что я знаю немецкий, затем все о нашей семье и доложил немцам. Они меня забрали к себе, и я у них работала в военном госпитале до самого их отступления. Когда вернулись наши, меня забрали и отправили в лагерь.

- Родители тебе пишут?

— Нет, я с ними больше не встречалась. Думаю, что их нет в живых.

Она внимательно вглядывалась в окно, боялась, вдруг нагрянет проверяющий офицер и застанет за разговором врага народа, опасного политического преступника с краснопогонником. Это же преступление!

— У меня тоже родители погибли в блокаду в Ленинграде.

- Я схожу за дровами. Эти уже догорают.

- Иди.

Она ушла, а я вышел из будки и заглянул за забор. На объекте муравьями копошились зэчки. Делали что может. Вскоре явилась Урсула, но не одна, а еще с двумя зэчками, они принесли коротких сухих поленьев и бросили на пол. Когда те ушли, мы продолжили разговор. Я спросил:

— Каково тебе было сидеть с мужчинами в одном лагере?

— Мне было не так трудно, как другим. Мы любили друг друга, он хорошо ко мне относился, правда, он много старше меня. Я дала ему слово, что вернусь к нему, буду его женой. Он уже три года как освободился и жи-



вет здесь, за Интой, на станции, ждет меня, моего освобождения. У него вечное поселение.

Урсула расстегнула сумку и из тайничка извлекла крошечные лапти, искусно исполненные.

— Начальник, это тебе от меня талисман, за то, что ты человек, пусть он хранит тебя. А стихи, Бог с ними, оставим до другого раза. Начальник, я пойду.

— Иди, Урсула.

Предупредив часового у ворот, я отправился проверять посты. На угловом, на вышке, как штык, стоит Никонов. «Все в порядке, Серега?» — спрашиваю его. «Нормально, командир». Никонов ходит из угла в угол, скрипят под его ногами доски, бурчит что-то себе под нос. Иду дальше — пустая вышка. Еще одна... Может, сошлись вместе и болтают? Но и на третьей — никого. На четвертой должен быть Волков, и его нет. Что-то случилось! Спешу дальше. Наконец, вижу на вышке Петрова, маленького, крепкого, как колокол. Этот не уйдет, не покинет пост. Часто случается — он рядовой, а поучает меня, сержанта, равно как и других. Человек не машина, не винтик, банальная это истина, но ее всегда надо помнить. Живой человек подвержен настроению, положительным или отрицательным эмоциям. Отсюда и его поведение. Действия человека не всегда предсказуемы. Иногда видишь: заключенный в смятении стоит в строю, а сам взвинчен, в нем бушуют страсти, эмоции. Чем они вызваны? Причин много, а главная — человек не принадлежит себе, он лишен свободы, подавлен морально, он должен сдерживать в себе естественные желания. Он не может идти, куда хочет, видеть того, кого желает. Он не может выполнить своих желаний, даже ценой своей жизни. Он угнетен, озлоблен и подавлен. В такие моменты он готов на все, жизнь ему в тягость. Единственное, что удерживает его, это страх смерти, потому что он разумом и инстинктом сознаёт, что после смерти ничего поправить уже нельзя. На замечание конвоя такой зэк отмахивается, отвечает грубостью, в голосе его гнев и ненависть.

В таком случае я не обостряю, не нагнетаю ситуацию, не иду на принцип, не спешу применить власть и право, данные конвою. Стараюсь смягчить, притупить остроту момента. Зэк мгновенно чувствует это, он улавливает, что я считаю с его человеческим достоинством, с его скверным душевным настроением. «Повернитесь спиной», — говорю такому. Он вынужден это сделать. Достаю карандаш и блокнот и записываю его номер. Это означает, что ве-

чером его посадят в БУР или в карцер. У него появляется новая пища для раздумий... Сколько дадут и чего, а может, начальник конвоя и сжалится. Вечером в бараке, придя с работы, ждет, что за ним вот-вот придет надзиратель и уведет его. Однако же пронесло. Он догадывается, что начальник конвоя не сдал его. Потом, в другой раз, в другом настроении, он крикнет из рабочей зоны: «А ты человек, начальник!»

Часто Петров позволяет себе крикнуть, хотя он и не начальник конвоя: «Колонна, приставить ногу! Командир, запиши номер вон того зэка и вот того, они разговаривали». Заключенные ни словом не возражают, они знают: этот начальник — человек.

Объект просматривается, но где же часовые? Возможно, снялись сами и находятся сейчас в конвойной будке. Слышу, меня окликают и зовут. Голос доносится из-за забора.

— Начальник, я прошу тебя зайти к нам в зону, обязательно приди.

Я заглянул в конвойную будку, там никого. Сразу же определился смысл слов бригадира, вернее, смысл ее приглашения. Оставив оружие часовому, я направился на объект. Бросилось в глаза сравнительно небольшое количество работающих зэчек. Посреди объекта длинное сооружение, похожее на столовую. Бригадир встречает меня и проводит вовнутрь. Распахивает дверь, и моему взору открывается вот такая картина. Почти во всю длину помещения вытянулся как бы один общий стол. Чего только нет на этом празднично убранном столе: бутылки шампанского, коньяка, водки, спирта, вина, всевозможные закуски из лучших твердокопченых колбас, банок шпрот и крабов, осетрины и буженины, около головок лука и чеснока — толщиною в десять сантиметров белые ломти пахучего аппетитного деревенского сала. Но это уже второе. А первым бросилось в глаза вот что: по обе стороны стола на лавках сидело не менее двухсот зэчек, да еще больше стояло вдоль стен, а на самом почетном месте в центре стола, под ярко освещенной люстрой, — мой конвой. Все они, как договорившись, по трое уселись друг против друга. Среди них, как пахучие розы, самые красивые зэчки. Женька Козлов, обезумев от счастья, обнимает сразу двоих, положив им руки на плечи. Гимнастерка у него расстегнута до пупа. Напротив него Волков, он также обнимает двоих, но идет дальше — то одну, то другую приклоняет к себе и целует смачно, чувственно, в губы. Они счастливо хихикают. Остальные, на сильном

взводе в окружении зэчек, о чем-то так увлеченно с ними разговаривают, что не замечают моего присутствия.

Где же их оружие? Недоумение охватывает меня. Ищу его глазами. Зэчки, стоящие вдоль стен, по моему тревожному взгляду поняли, что я ищу, и расступились. Автоматы были приставлены к стене. От души отлегло.

— Начальник, садись к столу, гостем будешь,— обратилась ко мне бригадир.

— Командир, выпей с нами,— прервав поцелуй, произнес Волков и снова прильнул к губам зэчки.

Свежо в памяти недавно происшедшее. Авторота состоит из одних хохлов, здоровущих, голосистых парней. Летом они, помывшись в бане, строем возвращались в часть. Вечерело, был на исходе прекрасный день. Упоительно светило солнце, тихо вокруг. Только песню разносили далеко по окрестностям их красивые голоса. В это же время возвращалась с работы большая бригада зэчек, и тоже хохлушек. Они возвращались со строительства гинекологического корпуса, и тоже молодые, сильные и красивые. Было жарко. Лица их загорелись румянцем, когда они поравнялись с солдатами. Глаза их встретились, и не было в них ненависти, а была любовь незримая, взаимная и неудержимая, добрая, человеческая. В едином порыве, как сговорившись, со стоном души и сердца, зэчки бросились к солдатам с криками: братушки, братики, миленькие, ридненькие! Ворвались в строй, все смешалось, переплелось. Они обнимали, целовали, лобзали солдат, повиснув у них на шее. После этого «позорного» для краснопогонников-чекистов случая шоферов автороты не водили больше в баню, а возили на машинах.

Я забрал четыре автомата и, тяжело нагруженный, пошел к выходу. У стены еще остались стоять два карабина. Что будет, если нарвусь на проверяющего? Но его не было. Видимо, не сочли нужным проверить, раз есть осведомитель в лице Петрова. Остались еще там их грубые брезентовые плащи с капюшонами. Скоро снимать. Как идти через всю Инту с пьяным конвоем?

Прибежала бригадир.

— Начальник, все будет в порядке, я придумала, нам не впервой.

— Что же ты придумала?

— Скоро увидишь.

Самое главное — не оставить людей на объекте! Чтoб ЧП не было. О побеге зэчек я не думал. Однако не раз случалось, когда пьяный конвой, и не только пьяный, забывал их на объекте, не всех приводил в зону и сдавал

на вахте. Потом опомнившиеся, заработавшиеся заключенные сами приходили на вахту лагеря. И, к их удивлению, в лагерь их пускали не сразу. Они оказывались лишними. Ошибся конвой, просчитались при подсчете солдаты-вахтеры и нарядчик эков. Но в таких случаях зэчки никогда не пытались бежать.

Точно подсчитать такое их количество, какое сегодня у меня, весьма сложно. Собьет пятерка шаг, дернется туда-сюда, и все пропало. Пятерки выходят строиться, я пытаюсь вести им счет, но где там! Они не соблюдают дистанцию — то растягиваются, то идут вплотную, крикнешь, отвлечешь внимание, и все — сбой, счет спутан. Осознаю, что сосчитать их я не в состоянии. Даю команду старшему бригадире сосчитать каждому людей в бригаде и доложить наличие. Прошло полчаса. Слышу доклад: начальник, все в сборе. Доверяй, но проверяй! Я это правило хорошо усвоил. Я и пять бригадиров со мной проверяем объект. Петрова я сразу же отправил в голову колонны. Он польщен этим. Но что делать с вконец раскисшим конвоем? Они не могут самостоятельно идти.

— Начальник, положишься на меня, дай, я буду командовать. — И, не дождавшись моего согласия, бригадир начала действовать.

На пьяных солдат надели арестантские бушлаты, на головы повязали платки и поставили в строй. Под руки их взяли здоровые, сильные зэчки.

— Когда пойдем Интой, головы опустите вниз, — советовала солдатам бригадир.

Оружие их мы несли под плащами. Инту прошли благополучно. Вдох облегчения вырвался не только у меня. Осталось еще одно главное испытание. Сдать по счету заключенных. У лесобиржи конвой снял с себя бушлаты и облачился в форму. Все хорошо! Им в дороге стало лучше. Теперь вахта лагеря. Заключенные идут по бригадам. Все, все в полном порядке! 830 зэчек. Вот так устроил праздник прораб Сирота заключенным, а мне — испытание. Я доложил капитану Скрыпнику, что конвой задание выполнил без происшествий. Только успел сдать патроны, как вызов в канцелярию и приказ: сержанту Дмитриеву с конвоем немедленно в санчасть к майору Комадею на обследование. Быстро даю команду трезвому конвою пройти обследование, а Волкову, Козлову и другим скрыться в столовой. Иду в сушилку, подговариваю шестерых солдат и веду их к Комадею. Результаты проверки оглашаются на инструктаже: все в норме, пьяных нет.

Через три месяца Козлова, неунывающего весельчака, не стало. Он трагически, нелепо погиб. Тайком вернулся из самоволки, проскочил мимо стоявшего дневального и, пьяный, упал на койку. Затем решил раздеться, стал спигать через голову гимнастерку и удушился. Одна из пуговиц не была расстегнута. С голой спиной и с задрапной гимнастеркой лежал он в проходе мертвый.

## 12

Я и осведомитель Петров назначаемся в особый конвой. В девять ноль-ноль мы должны получить в лагере эска и отконвоировать в Инту, в зал закрытого суда. При конвоировании в пути следования должны быть особенно бдительными. Оружие держать на изготовку. На вахте я расписался за заключенного номер такой-то. Выйдя на дорогу, предупредил его держаться левой стороны, навстречу движущемуся транспорту. На вид ему было лет 65, невысокого роста, более чем умеренной полноты, с одутловатым, болезненным лицом и легким бледно-розовым туберкулезным румянцем. Начинаящее грузнеть и дряхлеть тело его говорило о слабом здоровье. Темные, с желтыми яблоками глаза горели неумейной страстью. Взгляд его был одухотворен справедливой идеей борьбы. «Я знаю истину, я постиг ее, неведомую вам», — как бы говорил он. Он не был подавлен морально, напротив, он гордо шел в суд «доказать» или даже просто сказать на суде, в лицо палачам и истязателям, кто есть кто и что. Я не подгонял, не торопил его. Между лагерем и нашей частью почти километр пути. Впереди на дороге никого. Мне стало стыдно держать автомат на изготовку, не позволяло самолюбие. Я забросил его за спину, а Петров, глядя на меня, отомкнул штык карабина. Вдруг, я сомневаюсь, что это было случайным совпадением, нас догнал и, обогнав метров на пятнадцать, остановился армейский джип. Из него вышли два майора, и в одном я сразу узнал Голубкова, замкомполка по политчасти, другой был из политотдела управления дивизии. Не дослушав моего доклада, он напустился на меня.

— Где у вас находится оружие, как вы должны держать его?

— Товарищ майор, да я его кулаком убью.

— Вы-то его можете убить, а вдруг захотят убить вас и освободить его. Вы, рядовой, как вас?

— Петров, товарищ майор!

— Примкните штык, а вы, сержант, возьмите на изготовку.

— Слушаюсь!

Заключенный стоял к нам лицом и с нескрываемым презрением слушал наставления майора. Когда они отъехали, я спросил Петрова:

— Откуда они взялись?

Тот пожал плечами:

— Только из Западного поселка, больше неоткуда.

Это значило, нас проверяли, за нами следили. Мы доставили эка в Инту в назначенное время. Петров остался часовым на лестнице второго этажа деревянного дома, а я с заключенным прошел в квартиру (нас уже ждали на улице и показали, куда идти).

В комнате, довольно большой, ближе к стене между окнами стол. Напротив в углу круглая печь. Стены оклеены мрачными, аляповатыми обоями. Дощатый, крашеный пол. За столом двое мужчин и женщина. Три стула, на которых они сидят, и больше ничего. Заклученный стоит у печи, держа в руках шапку. Я стою у двери с автоматом в положении к ноге. В середине восседает молодой полковник КГБ. Он весел, бодр, энергичен. Перед ним на столе много фотографий. Слева от него женщина лет тридцати, перед ней лист чистой бумаги и папка с делом. Справа военный прокурор в звании подполковника. Он почему-то встал из-за стола и больше не сажился. Суд без адвоката, без свидетелей, без заседателей, без секретаря суда, начался. Суд из одних обвинителей.

— Заклученный, ваша фамилия?

— Розенблюм.

— Имя?

— Давид Моисеевич.

— Год рождения?

— 1890.

— Образование?

— Высшее.

— Где получили образование?

— Окончил Технический институт в Лондоне, Университет философии и права в Гамбурге, Государственный королевский университет в Вене.

Остальное из его биографии их не интересовало.

— Вы не отрицаете, что это все писали вы? — полковник взял со стола несколько больших фотографий. — Подойдите сюда, ближе к столу.

Когда заключенный подошел к нему на расстояние

вытянутой руки, он выставил перед ним фотографии. Я прочитал и ужаснулся: «Смерть Сталину!»

— А это, а это, а это? Все это писали вы?

— Да, я.

— Вы не отрицаете и можете подтвердить письменно, что на стенах, столах, на полу, везде, где только можно, вы писали: смерть вождю?

— Да, подтверждаю, что все это писал, царапал я, своей рукой и вот этой ложкой, подточенным ее концом,— он показал на ложку, лежащую на столе.

— Вы хотите смерти товарищу Сталину?

— Да! Я страстно желаю скорого конца тирану,— глаза заключенного загорелись горячим блеском, голос его окреп.— Нет и не было с начала света большего преступника, чем этот тиран-параноик, идиот, циник со своей бандой палачей. Он утопил людское горе в море крови, и вы помогаете ему в этом. Вы подручные палача, и вы ответите вместе с ним за уничтожение своего народа!

— Хватит агитировать нас! — полковник ударил рукой по столу.— Подойдите, распишитесь! Вы приговариваетесь к исключительной мере наказания. Приговор обжалованию не подлежит,— зло, резко произнес заученную фразу прокурор.

— Сержант, подойдите к столу, вот, возьмите документы на заключенного, отведите в тюрьму и сдайте его по всей форме.

Розенблум был осужден заранее, заранее составлены и документы на него. Смерть Сталину, при живом еще Сталине!!! Перед призывом в армию я голосовал за него. На избирательном участке царила настороженная, подозрительная тишина. Я вошел в кабину, взял лежавший там карандаш и от всей души, от сердца написал на бюллетене: «Желаю здоровья и долгих лет жизни дорогому товарищу Сталину!» Выйдя из кабины, заметил на себе проницательные, сверлящие взгляды многочисленного обслуживающего персонала.

Кто не был заражен «куриной слепотой» любви к Сталину? Всюду в общественных местах, в цехах, в учебных заведениях, в клубах, в исполкомах, в райкомах, в парках — всюду было помещено огромное письмо-панегирик ленинградских рабочих и ИТР, обращенное к товарищу Сталину. Чего только не было в нем, каких слов любви и благодарности, каких только эпитетов он не удостоивался! Он и гениальный кормчий, он и генералиссимус, вождь и отец всех народов, верный продолжатель дела Ленина... Что все, как один, желают ему, великому из



великих, мудрейшему из мудрейших, здоровья и долгих лет жизни, на счастье всех людей планеты. В армейской библиотеке в клубе мне попала книжечка о Сталине, о местах его ссылок. Упоминалось в ней пребывание его в ссылке в городе Котласе. Чего только не пришлось испытать ему, будущему вождю всех народов, в этом суровейшем краю, где, кроме жесточайших морозов, голода и лишений, не хватает восемнадцати процентов кислорода.

Нам в клубе была только что прочитана фарисейская лекция о том, как нам здесь хорошо. Что мы не испытываем никаких трудностей, ни материальных, ни природных, ни моральных. Что нам никаких доплат, так называемых северных и полярных, не положено. Здесь, в Инте и вообще в Коми АССР, нормальные условия для проживания. Заводной, экспансивный Кириллов бегал с книжечкой по казарме.

— Эй, послушайте, что написано: товарищу Сталину в Котласе восемнадцать процентов кислорода не хватало, а нам в Инте, за тысячу километров севернее его, хватает. Во дают, а?

Из сушилки он бежал к замполиту старшему лейтенанту Дзеженко.

— Товарищ старший лейтенант, вы на лекции были, вы нас туда водили, тогда скажите, как это понимать? — Кириллов тыкал в восемнадцать процентов кислорода. — В Котласе не хватает, а у нас нормально.

— Товарищ Кириллов, ведите себя спокойней, вы учитите, что климат меняется.

— Так что, он за полвека настолько изменился? — сомневается солдат.

— А что вы думаете! — спокойно и вежливо отвечает Дзеженко.

Мы отвели Розенблюма в одиноко стоявшую загадочную тюрьму, из которой никто никогда не возвращался. Она стояла на берегу реки Инты, обнесенная высоким, в четыре метра, сплошным забором. Увидеть, что там внутри, невозможно. Чем-то далеким, древним веет от этого острога. Но это, если судить внешне. Я не стучу колушкой в калитку, и мне не открывает стрелец в кафтане, перетянутый красным кушаком, с секирой в руке. Я звоню, мне открывает суровый, молчаливый солдат-краснопогонник. Берет документы. Я расписываюсь в графе «сдал» — он: «принял». Смертник шагнул за порог калитки.

— Сержант, я смерти не боюсь, лучше умереть, чем жить так. Работать, для чего? Чтоб усиливать этот ад-

ский аппарат насилия, чудовищную машину истребления неповинных людей? Нет, я выбрал для себя смерть.

Эти горячие, как расплавленный металл, слова, обращенные ко мне, Розенблюм произнес вскоре после «суда», еще не остыв от возбуждения. Я понял, что он скорее успокаивает и оправдывает себя, чем убеждает меня.

Как расстреливают в тюрьме? Этого точно и достоверно не знал даже Пospelов. Никто и никогда, кажется, не встречал человека, который бы сказал: я расстреливал людей, это моя работа. Пугать перед смертью человека, в открытую целиться в него — бессмысленно. Пospelов говорил, что убивают людей скрытно и неожиданно, когда преступник этого не ждет. Вроде ставят к стене, как под мерную линейку, чтоб измерить рост, и стреляют в затылок. По мнению других, убивают бескровно, током высокого напряжения. А что за люди те, которые приводят приговор в исполнение? Кто они, механические роботы? Нет. Они живые люди, у них есть сердце, глаза, совесть. А может, совести нет? Зато психика есть, она никуда не денется. Скорее всего, она больна. Кто, как и чем смывает кровь человека, кто убирает и зарывает трупы, не ставя креста, не шепча молитвы? Кто эти каменные, бесчувственные люди с застывшей кровью в жилах, с невидящими глазами. Как долго они живут, какому идолу и за что служат и где заканчивают свой путь? Это «чернорабочие» убийцы. Но есть убийцы-чистюли, и это они — главные убийцы. Они не слышат предсмертных стонов, вздохов, запаха и бульканья крови, они убивают в уютных кабинетах, росчерком пера. Надо, обязательно надо показать им, как это делается, во всей суровой неприглядности, чтоб сжались и сжалились их сердца. Такие вот мысли лезли мне в голову. Молча шел и Петров, и его вывело из равновесия это страшное место — тюрьма, из которой нет возврата и где само исчезновение — тайна.

В центре Инты, у самой высокой трубы ТЭЦ, которую оленеводы-коми избрали как бы местом священного жертвоприношения, на глазах публики режут и свежую оленину. Теплую кровь пьют кружками. Парное мясо раскунается мгновенно.

Капитан Минеев рассказывал нам, что сам видел, как трое эков, черных от загара, закончив кладку трубы, сделали на ней стойку на руках. Впечатление было огромным, их смелость поразила весь город. Еще потрясло капитана то, что коми во время рыбной ловли доставали

из сетей приглянувшуюся рыбу и ели ее живую. Она бьет им хвостом по ушам, а они откусывают у нее жирную спинку.

Нет среди нас капитана Минеева, а солдаты о нем помнят и добром поминают. Истинно русская душа у этого человека. Теперь на его месте капитан Скрышник. Это язва, а не командир. Под стать ему и его замполит капитан Пелипенко. Старшего лейтенанта Дзеженко вытеснили в другую роту, он по-прежнему хмур и в тревоге, в смятении: сократят из армии или оставят? Мы с ним дружны, как и раньше. Несколько раз он приглашал меня к себе, но я не злоупотребляю его гостеприимством. В присутствии его жены рассуждаю, привожу веские доводы в его пользу и резюмирую: сократить не должны.

На ТЭЦ в Инте работают бытовики — зэки-уголовники, они не представляют для власти опасности, это убийцы, воры, хулиганы, насильники и прочие рецидивисты. Часто мы видим, как их конвоируют на работу. Колонну в 200 человек ведут двое конвойных с карабинами. Спереди и с боков охраны нет. Урки идут, как потрепанное войско Наполеона при отступлении. Фофаны нарочито без пуговиц, грудь нараспашку, у счастливчиков видны напоказ матросские тельняшки или просто майки. Руки скрещены на груди и спрятаны в рукава. Столько в их поведении и виде барахольного пижонства, ничтожного самодовольства, что хочется плюнуть в них и крикнуть: фуфлыжники вы, братва, отбросы общества! Зато сколько злобы выказывают они, когда навстречу им ведут политических, таких же братьев по несчастью. Урки с обзывками на устах, клеймя политических предателей, немецкими ублюдками, жополизами, суками, порываются напасть на них, грозят кулаками, плюются в них, уподобляясь грязной шавке, твякающей из подворотни на степенно идущего мастодонта. Политические идут строгой колонной, как на каком-то мрачном параде. Все в них пригнано, все застегнуто, полны человеческого достоинства в своем униженном положении. Молчанием они выказывают презрение к улюлюкающим уркаганам. Бывали раньше случаи, и нередко, когда бытовиков натравливали на политических, и те избивали их приготовленными заранее кастетами. Сержант Пospelов с захлебом рассказывал об этом...

Все чаще назначаемся мы в конвой в Инту. Рядом с ТЭЦ маленький шлакоблочный заводик. Мы приводим заключенных и сдаем сюда утром, а забираем и отводим в лагерь вечером. Пока они на работе, мы относительно

свободны. Завод охраняет военизированная охрана. Мы находимся вместе с нею на вахте. На заводе работают и вольные, они проходят по пропускам. На вахте ежеминутно звонит телефон. Самовлюбленный вахтер артистически снимает трубку и отработанным голосом произносит: «Алло, вахта шлакоблочного, Филиппович слушает!» В конце концов слушать этого Филипповича мне надоело до тошноты, и я вышел на улицу. Рядом стояли два офицера и разговаривали. Офицеры из политуправления, оба молодые. Одного из них, который рассказывал, я знал. Вместе с ним я был на семинаре в то время, когда проводил занятия за командира взвода, уехавшего на сборы. Рассказчик стоял ко мне спиной.

— Жениться на ней или не жениться? — вопрошал он.

— Это, между прочим, твое дело, советовать не буду, тебе должно быть виднее, тебе жить.

— Ты знаешь, — как бы стал убеждать приятеля мой знакомый, — так она баба ничего себе, и на морду красивая, и фигура есть, и попки, а вот эта у нее, — он назвал прямо и недвусмысленно, — как калоша. Да-а, пожалуй, влип я, нарвался все-таки, напоролся. Буду рожать, говорит, и все. Замуж не возьмешь, откажешься от ребенка — пойду в политотдел и все расскажу, как было. Из партии и из офицеров вылетишь, как милый. Ты знаешь, как я ее обработал? Увез на мотоцикле на восемь км. Думаю — не даст, назад не возьму, пусть пешком идет, топает. Метод этот безотказный, на многих испытал. А вот Лидка из сберкасы, представь себе, с тупика, двенадцать километров пехала, да еще пощечину дала, подлецом назвала, оскорбила. Ну вот, я к ней, а она без слов, сама обняла, целует, такой роман у нас вышел. Не отвертеться мне на этот раз, чувствую. Она уже и чепчики и распашонки готовит. Да вон она, которая выше, в зеленом пальто, на смену идет. Ты постой, я пойду ее встречу, ты не уходи, я вас познакомлю.

Встретив будущую жену, он залебезил перед ней. Она протянула ему руку. Он нежно коснулся губами ее щеки, взял под руку, и они вместе направились к проходной, к вахте шлакоблочного. Приятель-офицер ждал.

— Вот мой друг, познакомься!

— Люся.

— Михаил.

Я с любопытством посмотрел на Люсю. Была она здоровой, полнокровной, перезревшей девицей, скорее женщиной с толстыми икрами, широкой талией и заурядным лицом.

В соседней роте чествуют «героя», совершившего чудовищный акт жестокости, — он убил в конвое беременную зэчку, только что прибывшую в лагерь с воли. На седьмом месяце беременности с семью годами срока. У нее был самый маленький срок во всем лагере. Доставили ее из Западной Украины.

Постепенно, по крупицам узнаём мы правду о «тяжких» преступлениях особо опасных политических преступников. Она просачивается, доходит до нас исподволь. Раскрывает нам глаза, заставляет задуматься, усомниться в законности обвинений, выдвинутых против них. За что же дают 10—15—20 и 25 лет срока женщинам, за что? Мы просим, настаиваем зачитать нам их дела. И опять, в который раз, оперативник Особого отдела приносит кипу дел. Но и его язык не поворачивается зачитать сфабрикованную чушь. Мы чувствуем неладное все острее, все определеннее. В конвой с женщинами в тундру солдаты ходят как на праздник. В политуправлении знают об этом, варьируют роты, тасуют объекты, боятся влияния зэчек на солдат, «сживания» с ними. Но так или иначе интимные связи растут. Думало начальство: придут сознательные пролетарские парни-ленинградцы, служаки, слепые исполнители приказаний, а вышло наоборот — они сомневаются. Убийство беременной женщины раскрыло глаза многим из нас.

Скрывавшиеся вооруженные бандеровцы постучались к ней ночью. Потребовали сала и хлеба. Пригрозили молчать, не то смерть. В пути их поймали. Откуда у них хлеб и сало, они сказали. Этого было достаточно, чтоб судить беременную семейную женщину за связь с врагами народа. Сердцем и душой мы понимали, что приговор несправедлив. Кто бы отказался выполнить их требование? Может быть, прокурор, следователь и судья? Они первые бы наложили в штаны и вывалили бы все, что от них бы потребовали бандеровцы.

В смерти своей она была неповинна. Тогда конвой? Да. Так его воспитали командиры, а командиров воспитывал главный виновник — ГУЛАГ. По инструкции временный объект должен быть обнесен веревкой высотой в пояс, с яркими флажками. За неимением веревки или шпата — табличками с надписью: «Стоять! Запретная зона». В данном же случае конвой нарушил все необходимые требования и правила конвойной службы. Границы условного объекта определил визуально. Вон тот кустик

ползучей березы и тот, от того до того, и будет запретная зона. Шаг в сторону считаю побег, огонь применяю без предупреждения. Вот при таком преступно-зыбком условии и ставилась на карту жизнь каждой из них. Заключенные снимали верхний слой мха и мелкого кустарника. Недавно прибывшая с воли эчка задумалась, забылась с лопатой в руках, заступила за условную, невидимую черту. Раздался выстрел. Начальник конвоя стрелял в живую мишень, в спину, под нашитый белый прямоугольный лоскут, на котором был ее номер. Заключенная замертво упала на спину. Подруги сбегались к ней, но помощь не потребовалась. Рассказывают, что ребенок в утробе жил дольше матери, он подавал слабые толчки.

Вечером, после ужина, на инструктаже комроты зачитал приказ. Рядовому Иващенко за «бдительное несение службы в конвое, за предотвращение побега заключенной, с умелым применением оружия, объявить благодарность с предоставлением десяти суток отпуска без дороги». — «Служу Советскому Союзу!» В строю гробовое, осуждающее молчание. Меня все время преследует мысль — а что, если вдруг, по какой-то нелепой случайности, я оказался бы заключенным. Меня так же убили бы, как мышь, и никто бы за меня не отвечал, даже поехал бы в отпуск. Все во мне протестовало. Оказаться в роли эчка — это страшная трагедия. Не думая о последствиях, я нарушил привычное молчание:

— Товарищ капитан, при кровавом царизме у нас на Руси не казнили беременных. Революционерку из «Народной воли», которая обвинялась в покушении на царя, не повесили, пока она не родила. А Иващенко, по-моему, заслуживает наказания, а не поощрения. Он грубо нарушил инструкцию, не оградил объект веревкой или шпагатом.

— Сержант Дмитриев, разве вы не знаете, что действия вышестоящих командиров не обсуждаются?

— Знаю, товарищ капитан, но здесь идет речь о жизни и смерти двух человек, человека в человеке.

Капитан сменил тон на оскорбительный:

— А вы сами-то ограждали когда-нибудь объект, хотя бы табличками?

— Нет, товарищ капитан, не обносил, потому как у нас ничего подобного не водится.

— Старшина, он правду говорит?

— Так точно, товарищ капитан!

— Но я же сам видел у вас в каптерке веревки.

— Они на случай стихийного бедствия, товарищ капитан.

Во всех деревянных воинских казармах двери открываются вовнутрь. Зимой Инту буквально засыпало снегом. Однажды мы убедились сами, что шутить с ним опасно. Утром, после сильной метели, мы не смогли выйти на улицу. Казарму занесло по крышу. Нас откапывали с улицы. Иногда по нескольку дней подряд дуют сильные ветры. Как в пустыне песок, так здесь снег — как мелкие дробины, шурша, перекачивается, переносится ветром, образуя горы. Был случай, шквальный ветер порвал провода электропередачи. Гарнизон погрузился во мрак. В столовую добирались, держась за натянутую веревку. Впереди и сзади как маяки, тускло светили фонари. Вот для этой цели и имелись у старшины веревки.

Ротный той реплики мне не простил.

## 14

С Мишей Галкиным я был вместе в полковой школе в Абезе. Миша невысокого роста, вечно улыбающийся чернявый крепыш. Хмурым я его никогда не видел. Он ленинградец. По окончании школы его направили охранять лагеря по другую сторону Инты. Встречались мы с ним крайне редко, на стрельбах да на общем смотре. На Севере в Заполярье о климате говорят: девять месяцев зима, остальное лето. Кто не был на Крайнем Севере, тот не представляет себе, какое оно жаркое. Солнце не сходит с небосклона и днем палит нещадно. Вот и сегодня такой день. Вечером взвод идет в караул на шахту, а сейчас, после завтрака, мы свободны. Свободны относительно, комвзвода заболел, и на время мы бесхозны. Пока не придумали нам занятия, рядовые и сержанты потихонечку, незаметно удаляются в сторону реки. Всем за три года опостылела солдатчина, казарменная солдафонщина. Рядовые стали не те, к ним нужен уже другой подход. Ничем их не запугать — ни губой, ни тюрьмой. Иного нудного сержанта посылают на три буквы и делают свое дело. Берег реки порос кустарником, вызревает дикая черная смородина. Какое счастье почувствовать себя свободным хоть на два часа! Не слышать грубых окриков и команд, сталинских ударов по врагу, о подъеме социалистического строительства, о благосостоянии советского народа...

Волков, Козлов и Сафронов издали машут мне рукой,



зовут к себе. Да и меня самого неудержимо тянет на природу. Я, не таясь, напрямик направляюсь к реке. Обозленный помкомвзвода кричит мне вслед: «Сержант Дмитриев, вернитесь!» Нет, не вернусь, будь хоть что — не вернусь. Мне, моему организму сейчас нужен вольный воздух, глазам — красота мира вокруг, телу — живительная, освежающая вода... Солдаты купаются, смеются, резвятся, как дети. Унижающие нас кальсоны с завязками развешаны по кустам. К обеду мы собрались в казарме. Никто из нас не чувствует, не осознаёт себя виноватым, наоборот, мы убеждены: нам нужна разрядка, свобода, отдых. После обеда перед караулом мне впервые перед строем за самовольную отлучку объявили пять суток простого ареста.

По случаю расширения комендантской гауптвахты нашу гарнизонную ликвидировали. Старшина роты отвел меня в Инту и сдал на губу, на съедение клопам. Начальник гауптвахты, мрачный, с тяжелым взглядом ефрейтор, быстро нашел мне работу — разносить по камерам обеды. Кто на строгом аресте, тот получал нормальную пищу через день, а так два куса хлеба и кипяток. Почему ефрейтор выбрал сержанта, а не рядового? Видимо, больше доверия. У него на лице еще след недавнего испуга. Рядом с гауптвахтой находится комендантский взвод, солдаты его в привилегированном положении. Полы мыть и печи для них топить брали арестованных солдат — те были под рукой. Комендантский взвод создан для охраны и защиты политуправления и руководства города, а также для наведения и поддержки порядка в нем. Он всегда без промедления выступит по тревоге. Оружие в полной боевой готовности стоит в пирамиде. Ожесточившийся солдат, один из трех, которых привели мыть полы, бросился к пирамиде, схватил автомат и изрешил 11 солдат, лежавших на койках. Когда диск опустел, бросил автомат и зарыдал. О дальнейшей его судьбе мы не знали, в Инте его не судили.

До этого случая был другой, чем-то схожий с этим. Сбоку вдается в город зона рабочей шахты. Высится пирамидой терриконник. К вершине его проложена узкоколейка. Двое эзков, как волы, монотонно возят, толкая перед собой, вагонетку с породой. Зона шахты ограждена колючей проволокой и обставлена вышками. Почему-то эту территорию охраняет военизированная охрана, у них голубые погоны, они тоже мобилизованные, но жалованье получают значительно больше нашего, и после поста они свободны, могут переодеться в гражданское и быть как

и все вольные. Мы можем только мечтать об этом и завидовать им. «Страна чудес!» — матерятся солдаты. Да и посты у них не такие, как у нас, а легче — четырех-сменные.

Зона подходит почти вплотную ко двору гауптвахты. Однажды на зэка, возившего породу, и на солдата-краснопогонника, стоявшего на посту по охране гауптвахты, нашло. Зэк с высоты горы опрокинул вагонетку. Порода, шурша, покатила до самого низа. Часовой, задрав голову, смотрел вверх. «Что пасть-то разинул, падло?» — сверху крикнул зэк. Часовой не остался в долгу: «Замолчи, сука!» — и потряс карабином. «Пососешь у меня!» — зэк потряс кулаком между ног. Он хорошо знал, что убивать его в зоне часовому нельзя, не положено по Уставу, кроме как в запретной полосе, потому и был уверен в своей неприкосновенности. Но ошибся. Солдат попался горячий и отчаянный. Зэк еще больше подзадорил его: «Попугаешь свою мать, понял!» Часовой вскинул карабин и, недолго целясь, выстрелил. Зэк, взмахнув руками, упал навзничь. Гулкий, хлесткий выстрел в центре города всполошил всех. Без промедления к месту происшествия прибыли старшие офицеры политуправления. После своих показаний часовой был оправдан. Отпуска домой, конечно, не получил, но не был и наказан за убийство в рабочей зоне. Оскорбление часового на посту расценили как нападение на него.

Майор Голубков с лейтенантом Дурдадымовым посетил гауптвахту. Увидев меня во дворе без ремня, укоризненно заметил: «Дисциплину нарушаешь? А твои товарищи в это время кровь проливают».

Миша Галкин с двумя конвоирами и шофером-краснопогонником был назначен в конвой на лесоповал. Заключенных к месту работы и обратно доставляли на открытой бортовой машине. Порядок конвоирования на автомашинах отличается от всех других. Заключенные сидят на полу в «елочку», то есть раздвинув ноги, вплотную, рядами один к другому, спиной по ходу машины. У кабины, отгороженные щитком из реек, как забором из штакетника, стояли двое молодых литовцев из новобранцев, с карабинами в руках. Начальник конвоя в кабине, рядом с шофером. В кузове машины, вплотную к борту, стоял длинный узкий ящик под замком, похожий на пенал, в нем хранился рабочий инструмент зэков: пилы, ломы и топоры. Заключенные приготовились к побегу тщательно и заранее. Под рубашками у них запас питания, в карманах, кроме спичек, молотый перец и нюхательный

табак. Решиться на побег — это крайний случай отчаянного риска. Заключение решают: жить или не жить. Лучшим вариантом они считали бежать в пути следования. Дорога тянулась на 12 км и шла лесом. Уже проехали три четверти пути, когда заключенный, сидевший у ящика с инструментом, незаметно для конвоя самодельным ключом открыл замок. Ключ от замка находился у начальника конвоя. Выбрав удобный момент, когда машину тряхнуло на ухабе, заключенный снял с головы шапку и бросил ее с машины в сторону. Это был условный сигнал. Все хором закричали: «Стой!» Конвой застучал кулаком по крыше кабины. Машина тормознула. Сидевшие зэки вскочили по инерции и прижали щитком конвоиров. В глаза им полетели перец и табак. Враз зэки завладели их карабинами. Другие, расхватав топоры, уже спрыгнули на землю. Дверцы кабины открылись на две стороны. Галкин выпрыгнул на одну сторону, шофер, с наганом на боку, на другую. Миша мужественно сопротивлялся, но отвести затвор ему не удалось. Он кружил, рвал на себе автомат, но освободиться от двух заключенных, уцепившихся за ремень автомата, не смог. Третий же, с топором, ловил момент нанести удар. Наконец он его нанес — острым блестящим лезвием. Целил прямо в лицо, но Миша увернулся, удар пришелся сбоку лба. Зэк срубил ему часть черепа. Шофер сумел вырваться и бежал, не сделав ни одного выстрела. Молодых солдат не тронули. Сняли с них ремни с подсумками и патронами, сапоги да гимнастерки, цыкнули на них, дали пинка под зад, и те драпанули в часть. Восемь вооруженных заключенных, разделившись на две группы, бежали. Оставшиеся зэки принялись спасать лежавшего без движения и сознания начальника конвоя. Часть черепа, висевшую на коже, приложили на место, забинтовали голову, кое-как остановили кровотечение.

Первым прибежавший в часть шофер рассказал о случившейся трагедии. Бросились во все концы необъятной тундры оперативные розыскные группы с собаками. Начальника конвоя отвезли в больницу гинекологического корпуса, построенного зэками. Мише спасли жизнь зэки-профессора. Галкин будет жить! Но все ли будет у него в порядке с головой, покажет время.

Собаки с трудом взяли след. Заключение посыпали следы табаком, перцем, хлоркой, возможно, еще чем-то. Поступают первые сведения. Одна из групп преследования достала беглецов, но зэки меткими выстрелами убили рвавшуюся к ним собаку. Преследование без собаки

бессмысленно — вслепую их не найдешь. Вторая группа бежавших эков решила по-другому. Это пока что версия командования. Бежала не на юг, где их будут искать, а на север, вдоль железной дороги. Выиграть время и, когда кончится местный розыск, попытаться проскользнуть в Россию по рельсам. А там, если Бог даст, — затеряться в серой массе и попытаться уйти за кордон, лучше всего через западную границу или Финляндию.

## 15

Я назначаюсь начальником оперативной розыскной группы. В моем подчинении трое моих солдат: Цветков, Блохин и Васяткин. В нашу задачу входит контроль за полустанком и прилегающей к нему лесистой местностью. Мы получили болотные резиновые сапоги, плащи и недельный сухой паек. Естественно, что все мы были несказанно рады этому. По железной дороге доехали до нужного нам полустанка и направились в дом дежурного по станции. У меня имелось на руках предписание об оказании нам всяческого содействия и помощи со стороны хозяйственной и другой исполнительской и правоохранительной администрации на местах. Спрашивать у местных жителей, не встречались ли им здесь незнакомые мужчины, было более чем наивно. Жили здесь бывшие судимые или сосланные, всей душой сочувствовавшие заключенным и ненавидевшие нас, краснопогонников. Был август месяц. Чистенький, уютный полустаночек, затерявшийся в лесотундре, нам пришелся по душе. Несколько раз в день мы прочесывали близлежащие окрестности. Поражал лес, девственный, не тронутый человеком. Таких могучих, старых, замшелых елей до этого я нигде и никогда не видел. Судя по всему, здесь водились медведи и глухари.

Нас определили на ночлег к одному леснику. В бараке, где он жил, его не оказалось. В ожидании хозяина мы полулежали на полу в просторной прихожей. Вдруг дверь открылась, и в коридор влетела женщина средних лет. Вид у нее был несколько заполошный, взгляд рассеянный, блуждающий. Она как бы впопыхах оглядела, перебрала глазами каждого из нас и, остановившись на мне, сказала: «Пойдем к нам, у нас для полной компании не хватает человека».

Я от растерянности молчал. Она выжидала, не уходила. Товарищи в один голос стали понукать и толкать меня, приговаривая: «Иди, командир, иди». Я встал и по-

шел за ней. Она жила рядом, за стеной, в большой светлой, просторной комнате. Посередине комнаты стоял стол, накрытый скатертью, на нем патефон с поднятой крышкой и поставленной пластинкой. Еще на столе стояла бутылка белой «Московской» водки, два прибора и закуска из консервов. «Проходи и садись за стол», — сказала она, закрывая на ключ дверь. Я сел, оглядывая комнату. Шкаф, за ним кровать с разобранной постелью, настенная вешалка, над столом абажур. Ближе к окну — ножная швейная машинка, над ней на стене зеркало. Не спрашивая меня ни о чем, хозяйка стала разливать водку в стаканы.

— Давай выпьем за наше знакомство, а потом потанцуем, — она потянула руку чокнуться.

Выпили по полстакана и закусили рыбой.

— Вот семга, вот горбуша, пробуй.

Сама встала и стала крутить ручку патефона. Заиграла музыка.

— Давай потанцуем.

Звучало танго, скрипела пластинка. Танцевал я плохо и нехотя. Она прижималась ко мне, стараясь возбудить во мне чувства. Наконец, ей это удалось, она осязаемо ощутила мое состояние.

— Я хочу полежать, давай полежим, — сказала она и потащила меня за собой к разобранной постели.

На удивление быстро, как в цирковом номере, она разделась и юркнула в постель. Я, наоборот, медлил, боролся с собой. В моем воображении возникла жена, обнаженная, с красивыми формами тела — она стоит во ржи с венком из васильков вокруг головы. И еще она, но другая, в темной комнате, с протянутыми ко мне руками. А вот эта — нелюбимая, которая ждет меня, зовет лечь к ней...

— Ну раздевайся же, я жду!

Я смотрю на нее. Ватными движениями развязываю завязки кальсон. Все. Мне противно, но я, как загниотизированный, неуклюже лезу на нее. Она лежит, скрестив на груди руки, затем хочет обнять меня за шею. И здесь я увидел: вместо большого пальца правой руки у нее культи. А тело дряблое, я уже коснулся его. Как будто пелена спала с моих глаз, и мозг мой прояснился. Я быстро встал, еще быстрее влез в кальсоны и сапоги, сгреб гимнастерку, брюки и ремень — и к двери. Повернул ключ, отпер дверь и, прежде чем закрыть, обернулся. Взгляд мой скользнул в окно и остановился на подоконнике. На нем батарея всевозможных медицинских буты-

лочек и пузырьков с наклейками и рецептами. Она лежала на спине с закрытыми глазами. Наверно, ко всему прочему еще и больна заразной болезнью, подумал я.

В одном исподнем я и предстал перед товарищами. Они предполагали что угодно, но только не это.

— Что с тобой?

Я кратко рассказал им. Они, не дослушав меня, усекли по-своему:

— Где она живет?

— Вот за этой стеной. Здесь, рядом дверь к ней.

Блохин и Цветков сорвались с места. Васяткин остался. Вернулись они часа через два «молочными братьями». Она приняла их, удовлетворив как смогла. Но настроение у них упало, когда я спросил, видели ли они, что у нее на подоконнике. Они видели. И тут же оба исчезли. Я уже начал беспокоиться, но напрасно. Выйдя на улицу, я обошел дом. К нему с тыла подступал лес. Там я увидел их, стоящих на коленях. Каждый, боясь заразы, в болотной воде полоскал свой член. Вода была всюду — стоило сделать ямку во мху, как лунка сразу же наполнилась. Все это выглядело забавным, но им было не до смеха. Они вернулись с видом обреченных. Я категорически запретил им в течение трех дней прикасаться руками к сухому пайку.

С нетерпением ждал я возвращения лесника. Заранее продумал вопросы к нему. Старик оказался живым, словоохотливым и на редкость общительным человеком. Его большая бревенчатая комната напоминала зал музея по орнитологии. А сам лесник оказался отличным препаратором. Всюду чучела птиц.

Я все ждал момента перевести разговор на другую тему.

— Скажите, а что представляет из себя ваша соседка? Кто она?

— Да разве не видно? Вон она пошла в красной фуражке на работу. Дежурная по станции она, — пояснил старик.

— А что это у нее на окне за снадобье и почему так много? Что она, больна?

— Вот вы о чем, — усмехнулся старик. — Не бойтесь, она по совместительству медсестрой работает.

От его слов ребята повеселели. Однако еще несколько дней, не особенно таясь, доставали предмет, которым справляют удовольствие, и оглядывали, не капает ли.

Чудесно провели мы неделю на этом уютном и чистом полустаночке, почему-то названном Угольный. По шпа-

лам уходили до следующего полустанка, знакомились там с вольными железнодорожниками, и, не обнаружив беглых эков, возвращались обратно. Срок нашей командировки благополучно закончился, и мы возвратились в часть. Там узнали, что одну группу бежавших сняли с товарного поезда еще до Ухты. Вторая через три недели вышла из леса и сама сдалась. На этих беглецов было страшно смотреть — заросшие, изодранные, вконец отощавшие, искусанные мошкой, с больными, сопревшими ногами, они еле передвигались. Еще одна мечта эков об удачном побеге рухнула.

Я возвращался после проверки постов вокруг лагеря бытовиков. До слуха слабо доносилась какая-то необыкновенно жалобная мелодия. Подходя ближе, разобрал, что это траурная музыка, и догадался — умер Сталин. Спешу в казарму подтвердить догадку. По лицам солдат вижу — прав. По радио объявляют о выступлении членов Политбюро ЦК партии. Из всех однотипных запомнилось только одно — оно не было похоже на другие. Выступал Лаврентий Павлович Берия. Речь его тверда, в железном голосе ни нотки сожаления и растерянности. Он знает, что надо делать. «Только слепцы могут не видеть наших великих достижений, свершенных под руководством гениального вождя всех народов товарища Сталина. Мы твердо пойдем по его пути, и никакая сила не заставит нас свернуть с этой дороги».

В лагерь привезли Героя Советского Союза, крупного воинского начальника, бывшего боевого летчика-фронтовика. На нем все с иголочки, все кожаное, добротное. Одежду, как положено, он сдал на склад, взамен получил квитанцию. А подполковник, начальник лагеря, как раз собирался в отпуск в Москву.

— Принесите мне одежду этого прибывшего летчика, — приказал он. «Зачем она ему? — подумал подполковник. — На том свете не пригодится. Двадцать пять и пять — это только первая фаза срока и приговора, а за ней еще и еще». В Москве начальник лагеря выгодно реализовал форму и со спокойной совестью, довольный своей находчивостью, возвратился в Инту.

В весеннем воздухе носятся и зреют новые веяния. Теперь наш взвод находится в сельхозе по охране лагеря уголовников-бытовиков. Здесь нет душной, угнетающей сознание караулки. Мы уходим на посты прямо из казармы и возвращаемся в нее. Офицеры посещают нас пе-



риодически. Солдаты во власти сержантов, но и тем осточертела служба. В сельхозе у нас больше свободного времени и меньше муштры. Сельхоз находится на возвышенности. Здесь парники и стеклянные теплицы. Наши товарищи из роты приводят для работы в теплицах зэчек. Волков и другие любители амурных встреч завидуют им. Парники и теплицы — лучшее и безопасное место для свиданий солдат с зэчками.

Под горой, ближе к Инте, река и высокий на опорах мост. За ним ТЭЦ. Нас посещают охотники-коми, по утрам они возвращаются с тихой охоты. У них нет с собой даже ружья. На лыжах и с мешком за спиной они идут вдоль линии телеграфных столбов и подбирают куропаток, врезавшихся ночью в провода. Полярные куропатки на вид довольно крупные, даже лапки у них покрыты перьями. Зимой они белые и незаметны на снегу. Большими стаями бегут они, как бы катятся по ветру и снегу. Охотник бьет по ним из малокалиберной винтовки с трех-пяти метров. Они не боятся и не замечают выстрелов.

Иногда подбираем куропаток и мы. Из семидесяти штук ощипанных птиц получается мягкая подушка. Основной же промысел куропаток — в тундре. Охотники-коми ставят петли на карликовых ползучих березах. Птицы склевывают почки и запутываются в силках. Как-то спасаясь от волков, в часть забежало несколько загнанных, отбившихся от стада оленей. На них нельзя было смотреть без сожаления. Со спины и с боков ремнями свисала кожа. Шкура изодрана волчьими клыками настолько, что у некоторых оленей были видны голые ребра. Они охотно ели с рук хлеб, посыпанный солью. Олень, пострадавшего меньше других, я отвел в тундру. Хотелось посмотреть, как он будет добывать себе корм. Снег был довольно плотный и лежал толстым слоем, не менее полуметра. Олень пытался добраться до мха — довольно долго долбил снег копытом. Затем оставил это место и пошел дальше, наклонив голову. Остановившись, снова стал энергично работать. Расчистив снег до мха площадью менее полуметра, встал на колени и стал губами щипать жесткий, колючий ягель. Вот почему вечно в движении оленеводы со своими стадами. Во-первых, не везде в тундре растет съедобный мох-ягель, а во-вторых, они ищут место, где тоньше снежный покров. Летом же, когда тучи комаров и мошек преследуют стада, они идут к морю, где простор и спасительный ветер.

Ветер больших перемен вскоре дошел и до Инты. Уголовников-бытовиков амнистировали первыми, без всякого

учета и отбора. В пути следования эков началась резня, грабежи, бандитизм, изнасилования. Очень многие, не доехав до Котласа, были сняты с поездов и возвращены в лагерь.

Политических — особо опасных преступников — освобождали во вторую очередь. По их освобождению были созданы и работали специальные комиссии. В некоторых лагерях освобождали по две трети политических. В лагерях вокруг Инты я насчитал 70 тысяч заключенных, а сколько их было во всей Коми АССР?!

Повезло и недавно прибывшему Герою Советского Союза, командиру летной части. Его с почестями освободили. Начальник лагеря попал в пиковую ситуацию. Что делать? Ведь летчик предъявит квитанцию на только что сданную на хранение одежду. Как круто изменились времена! «Поторопился я списать со счетов летчика», — корил и клял себя подполковник. Но вышло проще. Начальник лагеря публично, в присутствии членов высокой комиссии, нашел в себе силы и признался летчику: «Продай я ее, ездил в Москву, там и загнал. Сгниет, думаю, зазря, а так хоть польза будет. Ведь двадцать пять с хвостом отмеряно!»

Простил его великодушно летчик, даже не назвал словом, которого начальник лагеря заслуживал. Только потребовал: «Новую фуфайку мне». В ней и уехал.

Половину пустующих барачных мужского лагеря отгородили колючей проволокой. В них сломали сплошные нары и сделали ремонт. Поставили двухъярусные солдатские кровати. На них будет спать новое пополнение. Отбирают сержантов для обучения солдат нового призыва. В списке на должность помкомвзвода числюсь я. В казарме, бывшем бараке заключенных, сыро, пахнет известью, хлоркой, мелом и карболкой. Командир моей учебной роты — капитан Скрышник. Он часто собирает нас и инструктирует. Требовательность, требовательность и еще раз требовательность. Не сумеете сразу оглушить солдата, выбить из него гражданку — потом с ним намучаетесь. Если кто из вас не готов к этому, напишите мне рапорт. Скрышник поощряет хамство, грубость, вседозволенность по отношению к молодому солдату.

Тысяча двести прибывших получили новое обмундирование. Начались шальные дни учебной подготовки. Редкий день проходил без строевой. На дворе — весна. Куда ни ступи, везде под снегом талая всепроникающая вода. Шинели, портянки и сапоги не просыхали. После тактической подготовки на местности произошло всеоб-

щее ЧП. Солдатские новые кирзовые сапоги московской фабрики «Красный богатырь» на второй неделе но́ски у всех развалились. Верх сапога крепился к резиновой подошве металлическими шпильками в два ряда, минуя кожаную стельку. Стельки в сапогах оказались бракованными, зауженными. Сработал стиль соцсоревнования под лозунгом: увеличим раскрой материала стелек с одного квадратного метра на два процента. Добиться всем результатов передовиков производства постоянно призывали радио и газеты. Несколько дней, пока не привезли новые сапоги, мы не выходили на улицу. Неожиданно Скрыпник объявил: с сегодняшнего дня на вечерней прогулке каждый взвод поет свою песню. Кто не запоет, тому взводу не будет отбоя, хоть до утра. По опыту я знаю, не всякий солдат, да еще новобранец, решится запеть. В нашей минеевской роте из 170 человек запевали лишь двое — ефрейтор Юрочка Храпов и Хаустов. Конечно, могли запеть и другие, но не лезли. Юрочка был парадный запевала, рвал голос на смотрах и показательных выступлениях, а Хаустов был как бы пристяжным и запевал в будни, точнее сказать, по вечерам, когда мы шли к вкопец остывшему ужину — остывшему из-за него же, Хаустова.

Ростом был он выше всех на целую голову, из себя тощий и черный, с длинной шеей. Храпов был щеголь, причем самовлюбленный, знал, что красив. Потому и опрятен, всегда с начищенными сапогами и белым подворотничком. Хаустов же, напротив, мужиковат, грязноват, неряшлив. Обычно старшина поручает вести роту на ужин якуту Чумичеву. Он старослужащий и помкомвзвода. «Рота! Шагом марш! — Потом, как бы случайно вспомнив: — Хаустов, за-пе-вай. Ножку, ножку взять! Рраз, рраз-два-три!»

Стройной колонной рота идет,  
Красное знамя гордо несет.

Рота подхватывает припев:

К мировой победе смелее в бой,  
Береги рубежи, советский часовой.

Часто такой запев сходит Хаустову с рук, и мы приходим тогда в столовую к еще теплomu, живому ужину. А когда Чумичев в другом расположении духа, то забегают вперед и кричит: «Рота! Приставь нога. Рядовой Хаустов, не пойте на «еть», на «еть» не нада! Рота! Смирно! Ша-гом арш!»

**Хаустов запевает снова:**

Стройной колонной рота идет,  
Звонкую песню гордо поет.

В строю безудержный смех. «Оставить песня!» — дает команду Чумичев и укоризненно, но снисходительно смотрит на стушевавшегося Хаустова.

Давно прошло время отбоя, многим взводам сыграли отбой, а многие еще ходят, потому что никто из новобранцев не может решиться запеть. Капитан Скрыпник стоит, ждет и слушает. Взводу, выполнившему его приказ, как регулировщик, дает отмашку следовать в казарму. Осталось три взвода, считая и мой, в котором солдаты не запевают. Я знаю, что ценит в командире Скрыпник, — подчинение солдат своей воле, любой ценой. Слышу отборную ругань, запугивания, окрики — это мои коллеги муштруют своих подчиненных. Нет, такого удовольствия не доставлю капитану Скрыпнику. «Взвод, стой! Есть приказ комроты, чтоб каждый взвод отныне имел запева-лу. Поэтому я требую от вас выполнить мою команду. Взвод, шагом марш! Запевай!» Наэлектризованная тишина. Чувствую желание некоторых запеть, но застенчивость мешает им. Возрастает и сопротивление солдат дикому приказу. «Будете ходить до подъема, ясно вам?!» — рычат сержанты. Будем ходить до утра, как бы говорят своим молчанием солдаты.

Я решаю прекратить издевательство и запеваю сам:

Пропеллер, песню громче пой,  
Неси в разлет стальные крылья.  
За прочный мир в последний бой  
Лети, стальная эскадрилья.

**Взвод дружно подхватывает припев:**

Там, где пехота не пройдет,  
Где бронепоезд не промчится,  
Огромный танк не проползет,  
Там пролетит стальная птица.

Солдаты поют отменно, вкладывая в песню душу и всю силу своих легких. Скрыпник дает рукой отмашку в казарму, а мне на другой день объявляет о моей замене.

Это болезненно задело мое самолюбие. А впрочем, я и сам сразу заметил, что не вписываюсь в когорту командиров. Мой принцип: служить и выполнять команды, исполнять обязанности не за страх, а за совесть. Я за со-

знательную дисциплину в армии, основанную на справедливых началах. Ни в коем случае не подавлять личность солдата, не применять несовершенные законы, не пользоваться бесправием военнослужащего. Во мне зреет крамольная мысль: отслужено три года, столько, сколько положено по Уставу. А Устав — это закон. Следовательно, после трех лет службы я имею право быть демобилизованным. Кроме того, среди нас есть женатые и даже многодетные. Мы должны быть демобилизованы! Мысль эта не дает мне покоя, она захватила меня и не отпускает. Усилились случаи самоубийств солдат. Не проходит месяца, чтоб несколько человек в дивизионе не покончили с собой. Это крайне отрицательно действует на психику остальных солдат. Как-то при очередном объявлении о самоубийстве у меня на глазах солдат Пряхин выронил из рук на пол патроны.

— Ты что, знал его? — спросил я.

— Мы из одной деревни.

## 16

Нашу казарму на сельхозе с другого конца занимают вольнонаемные надзиратели. Они работают в лагере бытовиков. Что заработают, то и пропьют. Они одиноки, живут в общежитии. Сейчас в Инте весна. Начался ледоход. В хороший день сотни людей, преимущественно молодежь и школьники, собираются у реки на мосту. Смотрят, как несутся, сбиваются, налезает одна на другую, ломаются и трещат льдины. Желтая, глинистая вода несет их, устраивает заторы, пробки. Чтоб не снесло мост, солдаты-подрывники бросают на лед толовые шашки. Гремят взрывы. Звучит смех. Светит яркое солнце. Скоро, скоро обновится земля. С весной в каждом человеке появляется заряд бодрости. На мосту среди девушек, парней и солдат был молодой надзиратель. В нем, совершенно трезвом, разыгралась неумная удаль, бравада. Он умышленно перегнулся через перила и уронил с головы потертую кепку. Она блином слетела в воду и поплыла среди белых льдин. Он, разжигая себя, торопливо начал раздеваться. Остался в одних трусах. Заметил на руке часы, снял и положил их поверх белья. Переступил перила и встал на выступающую кромку моста. Наклонился, выжидая чистой воды. Наконец дождался, оттолкнулся и ласточкой полетел в ледяную воду. Вынырнул и, как ошпаренный, саженками начал отмахивать к берегу. Он

наскоро одевался и дрожал, постукивая зубами. Из порезанных о лед ног сочилась кровь. Пока плавал за кепкой, лишился часов, их украли. Обувшись, он припустился бежать в затаенную гору к сельхозу. Там его встретил брат, влил ему в рот пол-литра спирту и приказал еще бегать. Раз двадцать обежал он нашу казарму и упал в постель. Пропотев и проспавшись, встал как ни в чем не бывало. Если не считать уплывших часов и кепки.

И еще один случай. Я не могу его толком объяснить себе и до конца понять. Мы ехали в пассажирском поезде в Абезь. В коридоре вагона, ближе к купе проводников, раздался звон разбитого стекла. Моментально открыв купе, проводница, с крошками вокруг рта, изобличительно завонила: «Кто разбил стекло?» Солдат, который умышленно разбил его кулаком, стоял тут же. Он ей невозмутимо, с достоинством ответил: «Я. Сколько с меня?» — и полез за деньгами в карман гимнастерки...

## 17

Летом 1952 года, после ликвидации путча в ГДР, в Инте объявились семь опальных генералов. Они обвинялись в ротозействе — это по-граждански, а по-военному — за утрату бдительности. В ГДР были погромы, разбивали витрины магазинов, устраивали поджоги и другие беспорядки. Где содержались генералы в Инте, нам было неизвестно. Их конвоировал в суд в политотдел безоружный майор. Генералы шли в форме, но без орденов и золотых звезд героев. Думаю, что они содержались в гостинице, а не в тюрьме смертников. Генералы, все до одного, были дородными, высокими, важными и задумчивыми с виду. Как журавли вышагивали они по дощатому тротуару, встречные прохожие сходили с мостков, уступая им дорогу и оборачиваясь вслед. Что было с ними дальше, осталось для нас тайной. Скорее всего, их раскидали по разным лагерям.

Возможно, одним из них и был генерал Петров. Зэки лагеря встретили его восторженно, с помпой. Это была необъяснимая причуда или арестантская хохма, а может, то и другое и еще что-нибудь. Шефство над генералом сразу же взяли литовцы. Поселили его в самом конце барака, в лучшем почетном углу. Для obsługi генерала выделили постоянного денщика-телохранителя. Освободили от заправки нар после подъема, а перед отбоем расстилали постель.

Генералу делали лечебный и взбадривающий массаж. Часто приносили из столовой завтрак и ужин. Зэки живут в лагере по национальному признаку. Это их сплачивает, объединяет, предохраняет от посягательств и произвола. Два барака литовцев соседствуют с бараками латышей и эстонцев. В противовес им — самая многочисленная колония украинцев-бандеровцев. Много раз они пытались убрать генерала, но литовцы упрямо, даже фанатично, оберегали его.

Один человек в лагере пользовался всеобщим, непрекаемым авторитетом. Это был кладовщик продовольственного склада, человек-альбинос. Выделялся он не только своей внешностью, высоким ростом, могучей фигурой и недюжинной силой, но, главное, честностью. Внешность этого человека вызвала странные эмоции и производила двойственное впечатление. Спереди на шее у него была густая львиная грива — каштановые волосы кольцами, как накрахмаленное королевское жабо, окаймляли грудь. Что это, каприз природы или ярко выраженный признак атакизма? Отличала его детская непосредственность, прямота, открытость и бескорыстие. А посадили его за то, что у себя на родине, в Литве, он высказывался против новой власти, против колхозов и совхозов. Ни один лагерник не мог сказать о кладовщике, что тот взял для себя горсть чего-то или хотя бы на пятьдесят граммов обвесил зэков. Зэки помнили времена лагерного беспредела, когда почти ежедневно отрубали головы поварам, кладовщикам, что обворовывали на кухне, обвешивали на складе. Теперь, с назначением этого человека, все, что было отпущено, — шло в котел. Никто не боялся, что, вернувшись с работы, он ляжет на нары с пустым желудком. Благодаря заботам этого человека и дожил до амнистии генерал Петров. Еще несколько раз пытались его зарезать в бараке на нарах бандеровцы и оуновцы. Ночью с заточками крались в барак, но были замечены. Не раз назревала резня литовцев с бандеровцами, но сила литовцев, их сплоченность сдерживали более многочисленных украинцев. Приходилось слышать от вольных шахтеров об атлетизме бригады крепильщиков-литовцев. Работая под землей с кувалдой, они превратились в гераклов.

Не забыл о своем спасителе реабилитированный и восстановленный в должности генерал. Редкую неделю не слал он из Москвы письма и посылки своему странному другу. А через несколько месяцев добился пересмотра его дела. Условно-досрочно кладовщика освободили из лагеря с правом проживания в Инте.



Начальнику хозяйственной части 74-69 капитану Нестерову невдомек, почему после его заданий зэчки бригады переглядываются, шепчутся и похихикивают. Бригадир, к удивлению подруг, тонко подтрунивает над капитаном, повторяя его приказ.

— Копать, гражданин капитан, как вы сказали, «наскрость» от ворот до крыльца казармы связистов, а от них опять же «наскрость» до столовой?

— Да, да, — подтверждает капитан.

Бригадир — литовка, и вся бригада у нее литовки. Алдона из Каунаса, как и многие прибалтки, степенна, несколько полновата, по-житейски практична и рассудительна. Держит свою веру и убеждена в правильности избранного ею и ее подругами пути. Они, по ее словам, защищали святое дело, частную собственность, от посягательств на нее большевиков. Коллективное хозяйство, колхозы — это, по ее словам, источник безрадостного рабского, подневольного труда. Никогда человек не променяет, не предпочтет личному, частному общее. Бригада Алдоны работает на переработке картофеля вблизи Инты. Разговаривать мне с ней опасно — могут застукать. Но ей так хочется поговорить со мной. Она помнит наш прошлый диалог о каторжниках, у которых режим и условия несравненно хуже, чем здесь.

Мне не пришлось их видеть, они были отправлены еще дальше на север, на Новую Землю и другие острова. Алдона с ними встречалась на пересылках. Они отмечены другой печатью. У них номера на груди, на спине и на околышке фуражки или шапки. «Мы дружны, как одна семья, как родные сестры. Общее несчастье объединяет нас, сплачивает, помогает нам выжить, выстоять. Мы приходим на помощь друг дружке. В скопище уголовников все наоборот, у них нет единения, они разобщены, каждый сам по себе. Правда, у них тоже есть тяга к добру, но к чужому». Этот меткий афоризм Алдоны произвел на меня впечатление.

— А как ты думаешь, — спросил я ее, — возможен коммунизм на земле?

— Нет, это не можно, — отрицательно покачала она головой. — Его сделать нельзя.

— По-твоему, Маркс ошибался, а Мальтус был прав?

— А кто еще такой Мальтус?

— Ну, это ученый поп, который спорил с ним и доказывал, говорил, что людей ждет не коммунизм на земле, а всеобщая неустроенность в будущем и голод от перенаселения.

— Ну, это произойдет не скоро, у нас в Литве на хуторах земли много, а людей мало.

— Они имели в виду не одну Литву, а весь земной шар.

— Ничего они не построят при этом наскрость гнилом строе социализма.

Алдона сказала это со страстным убеждением и скрылась за дверью овощехранилища.

## 18

Вечерами из зоны женского лагеря часто доносится до нас хоровое пение зэчек. Они репетируют. Потом в своем клубе дают концерт, как правило, по воскресеньям. Мы слышим из их зоны не только пение, смех, но и громкие аплодисменты. Это вызывает у нас глубокую моральную неудовлетворенность. Далеко не каждому из нас удастся «сходить в картину» — так называют здесь кино. В воскресенье у нас, как всегда, построение, а до него проверка вещимущества, обмундирования, оружия. Потом строем, колоннами поротно, пройдемся до Инты, иногда с оркестром, иногда с песнями, и глядишь — время обеда. Солдату не положен отпуск, увольнение положено — не дают. С той поры, как рядовые стали получать не три рубля, а двадцать три, им стало светить солнце. Убегая в самоволку в Инту, они позволяют себе расслабиться, а точнее — напиваются до бессознания. Потом, вспоминая о своих приключениях, говорят: дальше ничего не помню, отключился. В себя они приходили, как правило, на гауптвахте. В первые годы службы рекорсменов по пребыванию на губе были десятки, теперь сотни — тех, которые приближаются к роковой черте 180 суток, после чего суд и дисциплинарный батальон. Но и гауптвахта превращалась в театр, когда, например, один арестованный, невидимый за перегородкой камеры, начинал от лица офицера строжить и совестить другого, почти не вяжущего лыка:

— Скажите, рядовой Сидоров, вы часто нарушаете советско-воинскую дисциплину?

— Никак нет, товарищ майор! — Арестованный полагал, что его спрашивает замкомполка по политчасти.

— Сколько вы сегодня выпили?

— Сто грамм!

— Не врите, нам все известно. Вы пили с рядовым Васюшкиным. А вы, рядовой Васюшкин, развалились, как свинья, как последний разгильдяй. Как вы могли, отлич-

ник боевой и политической подготовки, напиться до пороссячьего визга?

— Товарищ майор, это последний раз!

— Сколько у вас было последних разов?! Отвечайте!

— Товарищ майор, это мое честное последнее слово.

— Сидоров, отвечайте. Знаете ли вы, кому способствуете своим поведением?

— Агентам международного происка.

— Правильно! А вы что думаете по этому поводу, рядовой Васюшкин?

— Я как Сидоров, товарищ майор!

— Молодцы!

За перегородкой в камере «товарища майора» взрыв гомерического хохота.

После трех лет службы солдаты значительно утратили чувство долга и страха. Прошедшая амнистия политических на многое открыла глаза. Как-то нивелировались, стали незначительными, привычными слова и фразы: «Соблюдайте революционную законность, уважайте человеческое достоинство эков». Эти слова кажутся кощунственными, издевательскими после содеянного над невиновными, которым дали по 10—15—20—25 лет. Сначала их растоптали, унизили, убили морально, отняли святое — свободу и здоровье, а потом изрекли лозунг. Не унижайте их человеческого достоинства. В политуправлении знают об этом психологическом сдвиге в сознании солдат. Доносят об этом осведомители из нашей среды и стукачи от эков. В один из весенних дней в расположении нашей части работало несколько бригад эчек. Одни чистили туалеты, другие на чердаках казарм ремонтировали трубы, третьи занимались уборкой территории вокруг столовой и чистили кюветы. Все было как обычно, ничто не предвещало чего-то особенного, как вдруг территорию части заполонили подозрительные штатские и военные и, словно разом сговорившись, растеклись по всем объектам, охватывая клуб, столовую, подсобные и складские помещения, чердаки. В это же время проверялась и служба конвоев. Все было спланировано заранее. Результаты проверки оказались удручающими. Пятерых солдат и старшину сверхсрочника Олейника застали на месте преступления во время занятия любовью с эчками. Старшину захватили на чердаке солдатской казармы. Солдата-художника Мирошниченко — в офицерской столовой. Остальных солдат на складе бывшего крольчатника и одного в туалете.

В конвое на объектах также было обнаружено девять случаев половой связи с изменницами Родины — врагами народа. Отсюда вывод: низкое идейно-моральное состояние дисциплины, зэчки разложили солдат. Через три дня часть на девяносто процентов заменили. Солдат раскидали кого куда: кого в Воркуту, кого в Салехард, Печору, Микунь, Абезь, кого на отдаленные локальные посты. Прибывшие с тех постов замененные солдаты горько сожалели, что не удалось им дослужить там до конца срока. А служба у них была отменная, три года они играли в домино и спали, спали и играли в домино. Они охраняли редкие проходимые тропы через Уральский хребет. Редко, очень редко бывала у них боевая тревога. Побег зэков были не частыми, как правило, в начале пути их настигали. Теперь лежебокам небо стало с овчинку, служба в карауле для них, привыкших спать по 18 часов, кажется пыткой и каторгой.

В темном, душном помещении, где воздух кажется сладким и липким, в одежде на голых, бывших арестантских, нарах лежат солдаты. Подъем! Вяло поднимаются они с нар, ворчат, нехотя слезают на пол и с тоской в душе наматывают на ноги вонючие портянки. Ни один из них не спешит в умывальник ополоснуть и освежить лицо. А все потому, что нет в карауле умывальника и нет воды. Есть ведро и кружка для питья. Майор Комадей считает, что без воды сутки выдержать можно, а суток этих набирается уже под тысячу.

В карауле на шахте в коридоре стоит железная бочка, наполненная сырой водой. По бокам ее бахромой мшистые зеленые водоросли. Бочку не моют, не скребут, не сливают воду, а только добавляют ее до краев. С большого перепоя, когда горит нутро, солдаты погружают в нее голову. Когда же подвезут питьевую воду, то наливают в нее же. Не раз я пытался восставать против этого, вызывая врача из санчасти, но только вредил себе. Летом, в жару, когда в общественном туалете выводились крупные, толстые белые черви, полчища их переползали из туалетной ямы к нам в общественный умывальник, в бочки с водой. Заглянешь сверху в оцинкованное корыто, их там полно, а мы чистим зубы, моем лицо...

В столовой черви другого рода, «съедобные», — то не червь, говорят в народе, которого мы едим, а тот, который нас ест. Из котла, в котором варится компот, я вылавливаю целую солдатскую кружку червячков, похожих на мелкие рисовые зерна. Старшина Минькин говорит, что нам отпускают залежалый продукт.

В карауле у меня ЧП. Поднимаю часовых на смену, а Соколов Васятка, так его называют солдаты, отказывается идти на пост. Ласкательно его называют за то, что он самый маленький из всех и лучше всех бацает, отплясывает чечетку. Лежит, не встает.

— Ты что, болен?

— Нет,— отвечает.

— В чем же дело?

— Не хочу, и все.

— Ты знаешь, что может быть за отказ выполнить приказ командира в карауле?

— Знаю, можете применять оружие,—он уже встал и взял в руки автомат.

Что-то злое шевельнулось во мне, но тут же прошло. Я не стал раздувать конфликт. Потому что Соколов мне понятен. Бывает у человека нежелание подчиниться: пусть будет, что будет, а он настоит на своем. И со мной такое случалось. Товарищи его уже выстроились и ждут, выжидают, что же дальше.

— Рядовой Соколов, ложитесь и отдыхайте,—говорю я ему официальным тоном.— Я найду вам замену.

Поднимаю рабочего по кухне, и тот на четыре часа подменяет Васятку. Ставлю боевую задачу часовым. Разводящие уводят их на посты. Инцидент исчерпан. А могло быть все иначе. Это когда говорят: нашла коса на камень. Вижу сержанта-скотину, который кричит подчиненному: «Смирно! Подовтори, что я сказал. Вам что, не ясно? Как вы стоите?! Смирно! Подовторите!»

У самого изо рта летят в лицо солдату крошки пищи и брызги слюны. Солдат отворачивается, утирает лицо ладонью. А сержант выходит из себя.

## 19

Все! Во мне созрело твердое решение пойти в политотдел. Морально я прав. Долг Родине я честно отдал. Дальнейшую службу я не принимаю — я не вижу в ней смысла. Во мне твердо осознанное убеждение, что армия — тюрьма. Пошел в Инту без разрешения капитана Скрыпника. Да он бы и не разрешил, да еще позвонил бы, чтоб не приняли. В деревянном двухэтажном доме никакой очереди. Какой здравомыслящий пойдет сюда, чтобы сказать, что он не согласен с произволом. Почему я был призван в армию с такой длительной отсрочкой, почему должен переслуживать восемь месяцев в мирное

время, через восемь лет после окончания войны? Всем существом своим чувствую преступность армейской верхушки и правительства. Что это за государственный аппарат, который нарушает им же созданные законы? Закон должен быть свят для всех, перед законом должны быть все равны. А у нас закон как дышло — куда повернешь, туда и вышло. Я иду мимо стоящего часового на второй этаж. Без всякой робости захожу в кабинет. Нет, это скорее не кабинет, а маленький зал со стульями вдоль стен. Посреди комнаты, ближе к стене, старинный массивный письменный стол, за ним сидит еще не старый, лет сорока пяти, самодовольный цветущий полковник.

— Разрешите обратиться по личному вопросу.

— Я слушаю.

— Товарищ полковник! Я отслужил больше, чем положено по Уставу, более трех лет, теперь прошу и требую демобилизовать меня, согласно Закону о воинской обязанности, подписанному министром Вооруженных Сил СССР. Ко всему я женат.

Вижу, как меняется его лицо. Куда делась веселая жизнерадостность, полковник стал похож на надувшегося, напыжившегося индюка, шея его покраснела, он приподнялся в кресле, опершись руками на подлокотники, будто сидел на остром шиле, и ядовито прошипел:

— Вы посмотрите на себя, у вас форма советского сержанта! Внешняя ваша форма не соответствует вашему внутреннему содержанию.

Аргументов более убедительных он не привел. Нажал пальцем на кнопку под крышкой стола и стал прислушиваться. Послышались шаги по деревянной скрипучей лестнице. В кабинет вошел армейский прокурор в звании подполковника, с узкими погонами. Тот самый, который в числе тройки приговорил к высшей мере Розенблюма.

— Вот, посмотри на него, — полковник обратился к прокурору, глазами показывая на меня. — Зачем, ты думаешь, он здесь? — И сам ответил: — Требует демобилизовать его, не хочет служить больше.

— Это так? — воззрился прокурор на меня.

— Да, именно так, — подтвердил я. — Я отслужил столько, сколько положено по закону, и об этом написано в Уставе.

— Мы знаем, что там написано, но вы, сержант, не знаете, что есть еще законы и неписанные. Так вот, не хотите отслужить еще восемь месяцев — так отсидите де-

сять лет как враг народа. Выбирайте! А сейчас я прикажу посадить тебя на гауптвахту, чтоб мозги твои просветлели!

Полковник снял трубку телефона и приказал:

— Начальника гауптвахты ко мне. Николай Михалыч, сколько вы ему можете дать?

— Больше двадцати простого не могу.

— Ну и я от себя пяток суток строгого добавлю.

Неуважение закона, нарушение его положений прямо ведут к произволу и беззаконию, порождают чиновничью вседозволенность. И здесь они наплевали на Устав и на положение о наказаниях. В совокупности вышло 25 суток, а максимальное наказание — это 20 суток простого или 15 суток строгого ареста. Находясь в камере, я пришел к выводу, что наказание этим не ограничится. В знак протеста я снял гимнастерку и отодрал с погон лычки. Вечером этого же дня майор Голубков с ножницами в руках переходил из камеры в камеру. Нескольким сержантам он срезал с погон нашивки, разжаловал сам. Неуклюже вошел в мою камеру, взглянул на меня и все понял. В роте, на доске объявлений, приказ. Сержанта Дмитриева разжаловать в рядовые за самовольную отлучку. С этого дня начались нескончаемые придирки, переходившие порой в открытую травлю. Скрышнику это доставляло наслаждение. Скоро я приспособился к роли рядового, решил не давать повода травить меня. В караул я назначался на самые ответственные посты. Знал в лицо гражданских взрывников и выводил их из зоны шахты на склад за запалами.

## 20

Богата тундра ягодами. В тридцати метрах за караулом болотце, клюква на нем крупная, как вишня. За зоной шахты другие болота, на одном клюква в форме бочонка, на другом — вытянутая. Всюду растут черника и голубика. Другие болота усыпаны морошкой. А вот брусники и грибов я не видел. Сразу за Интой — отработанная, заброшенная шахта. Ее взорвали изнутри. Любопытно посмотреть на это место. Земля равномерно осела вместе с растущими на ней большими елями и соснами. Впадина получилась глубокая, как кратер огромного вулкана и почему-то не заполнена водой. Вокруг Инты следы бурильных вышек. Геологи неустанно ищут нефть. В ряды уложены стволы, ядра породы, выдавленные из бу-



рильной трубы. По ним можно судить о размещении геологических пластов земной коры.

В Инту вдается действующая шахта, вот на ней и произошло очередное ЧП. Виновник уже демобилизовался и жил в деревне с матерью — вдовой-фронтоничкой. Вчерашнего солдата привезли и судят судом военного трибунала. В шахте имеются шурфы, одни служат вентканалами, в другие сбрасывают или подают крепежный материал. Шурфы огорожены рядом колючей проволоки, за ней часовой. По правилам конвойной службы должна быть сооружена вышка, и часовой должен находиться на ней. Это, казалось бы, незначительное нарушение охранной службы использовали зэки. Часовой должен бдительно нести службу на своем посту. Это железное правило, вероятно, и удерживало от строительства вышки. Пост считался временным. Зэки с помощью зеркал и труб устроили перископ и стали вести наблюдение за поведением часовых. Скоро они обнаружили, что один часовой малоподвижен и приспособился спать стоя, опершись на карабин. Зэки решили обезоружить его и затем путем шантажа заставить работать на них. Среди зэков были опытные пластуны-разведчики. Часовой вздрогнул и открыл глаза, когда почувствовал, что карабин потянули из его рук:

— Тихо! Без шума, не бойся, я тебя не убью, не зарежу. Не дрожи, успокойся! Мне нужен один патрон от твоего карабина, а если сможешь два, то будет еще лучше.

Часовой отдал два патрона.

— Не вздумай проболтаться, — сказал ему зэк. — Ты ведь скоро демобилизуешься, уедешь домой, и все забудется, будет шито-крыто.

Солдат смалодушничал, не рассказал всю правду. Два недостающих патрона купил у солдата Страхова. В другой раз на этом посту ему не спалось, он дрожал и ждал, гадал — вылезет к нему зэк или нет, отстанет от него или еще попросит. Зэк не отстал. Теперь, уже не вылезая из шурфа, а только высунувшись, он позвал к себе часового. Уже властно приказал ему: в другой раз принесешь два автоматных патрона. С автоматными легче, сразу подумал солдат, их и покупать не надо. На третий раз зэк вылез к нему, дал денег и задание купить солдатскую форму х/б, и не одну, а несколько комплектов. Солдат завяз, втянулся в предательство. Денег зэк давал много, не скупился. Целых семь пар купил и переправил зэкам часо-

вой на посту. От дальнейшего падения его спасла демобилизация.

Заключенные, переодевшись в форму солдат, под видом лагерной охраны напали на вахту и без единого выстрела разоружили людей. Завладели оружием и бежали. Две розыскные группы вернулись ни с чем. Первая потеряла собаководов — эки убили его. Собака без хозяина не пошла по следу. Вторая оперативная группа потеряла собаку и принесла на себе тяжелораненого инструктора.

Заключенные оторвались от преследователей и долго блуждали по тайге. Финал их был печален. В конце короткого заполярного лета они сами вышли на людей. Чуть живые, не в состоянии больше двигаться и бороться за свое освобождение. Лесобиржа, на которую они вышли, стала их концом. Все они были одеты в солдатскую изодранную форму. Каким образом они ее раздобыли, правдиво рассказали. Военный трибунал вынес «малодушному предателю, изменнику Родины, пособнику врагам народа» 25 лет.

Ни разу не позволил я себе уснуть на посту, на вышке. Временами было состояние, физически невыносимое. Достаточно было ослабить волю, чуть дать себе слабину, и тут же я бы рухнул и погрузился в сон. Но нет, я борюсь с телом, с организмом. В крайнем случае, когда наступит критический момент, покину вышку, сойду с нее и буду ходить вдоль своего сектора, туда-сюда. Только не спать. Это для меня дело чести. Если засну, то уроню себя навсегда в своих глазах. Только слабовольный человек найдет оправдание своему поступку. Бывает в караулке такое состояние, когда сон не идет, раздражает храп товарищей, обостряется слух, преследуют навязчивые воспоминания. Общая, тягучая, давящая неудовлетворенность настоящим. Перед постом надо поспать, иначе будет тяжело физически и душевно, а сна нет как нет. Голова пухнет. И вот команда: смена, подъем! Четыре долгих часа, а то и шесть, наедине с собой, да ветром, да холодом, да сектором обзора — вправо до пятого столба, влево до поворота. С собакой овчаркой на подвижном блок-посту и то лучше, утешает мысль — ей тоже тяжело. А ведь для неугодных начальству и штрафников, а то и просто для строптивых есть двухсменные посты, где надо проводить на вышке двенадцать часов в сутки. Два раза по шесть долгих часов на ногах, на посту по

охране особо опасных политических преступников. Хочется спросить, задать вопрос: какой преступник или преступники придумали такое наказание солдату?! Не потому ли солдаты убивают себя на постах? Сходят с ума, становятся хрипатыми и сипатыми на всю жизнь. Вот почему солдаты совершают такие поступки, как этот...

У нас в дивизии очередное новое ЧП. А было так. В конвой с зэками назначили, говоря по-армейски, двух разгильдяев. К концу службы, на четвертом году, у солдат снизилась бдительность, притупилось чувство самосохранения. Все, что случилось, — этому подтверждение. Рядом с мужским лагерем зэки рубят новые туалеты. В маленькой бригаде пожилых зэков двое молодых. Один из них бывший бандеровец со сроком 25 лет. Сложен отменно, бросается в глаза столб шеи в ширину с ушами. Он ловок и подвижен. Он прислуживает конвою. Следит за костром. Вовремя подносит наколотые белые, звенящие на морозе сахарные сосновые чурки. Горит костер, согревает конвой. Разомлев, солдаты сидят, покуривают. С утра они еще придерживались конвойного правила, отходили от костра, когда зэк подносил им новую порцию полешек. К вечеру у них кончилось курево. Западный поселок был близко. Один из них и решил сходить в магазин. Зэки всё видели. Остался один конвоир. Бандеровец решил действовать. С охапкой дров двинулся к костру. Психологически он рассчитал правильно. Конвоиру станет стыдно показать, что он боится зэка. Он не отошел от костра, даже не поднялся. Зэк размахнулся поленьями и бросил их в костер. Сам же одним прыжком сократил расстояние до конвоира и вырвал у него карабин. К ним с блестящим топором в руке бежал второй молодой зэк. Он открыл у дрожащего, икающего конвоира на поясе подсумок, достал две обоймы и ловко начал разряжать патроны. Порох ссыпал в кисет, а пули снова вставлял в пустые гильзы. Разрядив все патроны, зэки отдали конвоиру карабин, предварительно взяв с него обещание добывать для них порох. Для пороха дали пустой кисет. Не скоро явился начальник конвоя. Кроме папирос принес пряников и конфет. Удивился, что ни то, ни другое, ни третье не лезли напарнику в рот.

Однажды из упавшей на пол обоймы выпала пуля. А где же порох? Его нет. Тут же заметили, что и другие пули держатся слабо в шейке гильзы. Преступление оче-

видно. Оставалось найти, обозначить преступника. Сразу же включились в работу особысты. Личный состав построен, было сделано предложение признаться тому, кто это сделал. Охотника признаться не нашлось. Не выпуская никого из казармы, начали тщательный обыск. Дошли до матрацев и подушек. Наконец — есть! В надпоротом матраце кисет с порохом... Халатность в конвое стоила солдату 15 лет. Зэки часто говорили: разрешили бы нам сделать самолет и на нем улететь, мы бы сделали его. А порох, порох им, ой, как был нужен. Они в мастерских могли изготовить и гранату, и пистолет, и все что угодно.

По роте и по дивизиону пронесся слух: в конвое за Интой, у железнодорожной станции, солдат Золотов, а его знала вся дивизия, устроил буйное представление в стиле махновщины. Вытряхнул из санок ехавшего начальника строительства вместе с его кучером и приказал им топтать ножками, своим ходом. Сам сел на их место и стал ошалело гонять по участку дороги, где работала его бригада зэков, взад-вперед с криками и пальбой в воздух из карабина. Бригаду из двадцати зэков — особо опасных политических преступников, которые расчищали дорогу от снега, он бросил на попечение одного конвоира. Движение по дороге на время парализовалось. Золотова разоружили в Инте, куда он приехал за водкой. Как, чем объяснить этот поступок? Ведь до конца службы оставалось меньше двух месяцев. Теперь он арестован, впереди — суд военного трибунала. Какой всплеск отрицательных эмоций заставил его поступить так после трех с половиной лет службы?

Николая Золотова зачислили ко мне в отделение до моего разжалования. Он призывался из Гдова, где работал в городском клубе художественным руководителем. Отлично играл на баяне, два года руководил армейской самодеятельностью, ставил пьесы и особенно талантливо исполнял сам «Василия Теркина» Твардовского. Здесь же, в городском клубе Инты, на ренетициях обольстил молодую девушку, дочь бывшей певицы-зэчки, уже освободившейся и жившей в Инте на вечном поселении. Симпатичную девушку знал весь город. Ее фото долго висело на рекламной витрине и в фэс, и в профиле, и в полуоборот. Мать девушки узнала о случившемся и попыталась уладить дело по-доброму, поженить их. Бывшая известная певица разговаривала с Золотовым в изы-

сканной, несколько чопорной старомодной манере. И в такой же манере, но еще более утонченной, получила ответ: «Великодушно извините вашего покорного слугу, позвольте заметить вам, что ни о какой близости между мной и вашей дочерью не может быть и речи. Вероятнее всего, она перепутала меня с кем-то».

— Вы подлец после этого! — патетически воскликнула бывшая певица. На что он вежливо, галантно ей откланялся.

По роте приказ: личные вещи Золотова сдать старшине. В тумбочке, в словаре Ожегова между страницами вложено фото, то самое, что на витрине. На обратной стороне надпись: «Любимому навеки. Избранному Николаю от Доли. г. Инта. 1952 г.» И еще одна фотокарточка, скорее — его бывшей жены, исписанная мелким каллиграфическим почерком. Смысл непечатных, непристойных слов ужасен. Он ей мстит за что-то. Чем-то она, видать, здорово насолила ему. Девушка стоит у куста цветущей сирени в легком цветастом платье. Вокруг нее островки надписей с самыми оскорбительными для нее эпитетами. Она улыбается, держась рукой за ветку. На обратной стороне: «г. Гдов. 1950 г.». Решаю: фото со словарем сохранить и по возможности передать ему. Карьера Золотова в должности руководителя художественной самодеятельности закончилась после того, как мать девушки сходила в политотдел и довела до начальника по идеологии и воспитанию суть происшедшего. На суде этот эпизод несомненно подольет масла в огонь. По совокупности статей ему грозит срок от трех до семи лет.

## 21

Снова побег. Истошный лай потревоженного собачьего питомника, сотен овчарок, раздирает душу. Побег совершили пятеро зэков из рабочей зоны шахты 8-12. Время для побега дрянь. Предзимье. Мокрота и грязь вокруг Раскисшие сапоги не вытащить из липкой грязи. Все сырое вокруг. Мох и торф под ними, как намоченная губка. Куда бежать в такую погоду? Вернее, от чего бежать? От безысходности, от серой обыденности, от оупляющего, омертвляющего каждодневного однообразия, которое тянется, повторяется долгими годами. Невыносимость бытия родила в мозгу картину побега с благополучным концом. Вечер для побега выдался удачный. Шквальный ветер качал провода внешнего освещения. Собачьих блок-

постов не выставили. Было и свистело в кронах деревьев, пошатывались, скрипели вышки с часовыми на них. Из низких облаков то и дело лил дождь. Никого не удивило, что освещение зоны вдруг при сильном порыве ветра погасло. Его умело замкнули зэки, заранее подготовившись. Группа беглецов решительно бросилась вперед, опережая караул, понимая, что через десять — пятнадцать минут будет уже поздно — зону осветят подвижные группы из ракетниц. Ливень скрыл малозаметные следы на смотровой полосе. Шатровая сеть была в порядке, без видимых отклонений. Побег обнаружили поздно. Заключенные, как могли, способствовали этому. Их трудно было, против обычного, собрать вместе. Кто-то где-то, по каким-то уважительным причинам отсутствовал. Когда, наконец, всех собрали и посчитали, то пятерых не оказалось. Объявили побег и розыск. Эшелоны с углем из зоны шахты не выходили. Значит, побег совершен через проволоку. Надо искать место совершения побега. Десятки раз вокруг зоны проходят различные комиссии из штаба и части управления. Розыскные собаки след не взяли. Стало быть: зэки спрятались в шахте. Снова генеральный обыск под землей и тотальный шмон на поверхности. Кум — лагерный опер, почти в открытую, под разными предлогами вызывает к себе стукачей, но тщетно, безрезультатно. Снова метр за метром внимательнейшим образом осматривают проволоку. Полоса земли предзонника и запретной зоны иссечена дождем и залита водой. И вот, наконец, она найдена — бесспорная, бесценная улика. Можно предусмотреть главное, основное, что обеспечивает успех, но все предусмотреть невозможно. На колючей шатровой сети болтался, трепыхался по ветру, как иссушенный листок, вырванный кусочек материи от зэковского номера, что нашивается на спине бушлата. Остальное домыслить не составило труда. Искать их надо в тундре. В таком виде, в своих бушлатах с номерами, на железнодорожную станцию они не пойдут. Если даже они и отпорют номера, останется темный след от нашивки. Центр тяжести поиска переносится в тундру, к отрогам Уральского хребта.

Первая стадия побега совершена была зэками на редкость удачно. Не многим удавалось такое. Им удалось бежать скрытно. Всю ночь пятерка беглецов, не останавливаясь, двигалась на восток. Плечи и грудь их прикрывали брезентовые прорезиненные накидки. Рассвет отнял у них последние силы, но вселил надежду — погони нет!

Уральский хребет, к которому они стремились, был виден и казался им ближе обычного. На маленьком возвышении у трех сосен наломали веток и сделали подстилку. В полудреме провели около двух часов, и снова в путь. Обедать решили на следующем большом привале. Весь день до темноты шли они вперед, потом еще день, и вот они, горы. Холодные, мрачные, тяжелые и, как оказалось, неприступные. К ним не подойти, у подножия их — заливные топи, переходящие в трясины. Беглецы идут вдоль хребта на юг. Они надеются найти тропу, ведущую на перевал. Однако устремившиеся в погоню опергруппы с розыскными собаками, вышедшие на сутки позже, уже опередили их, достигли перевалов и устроили засады на тропах, поджидая эков. Опергруппы шли извечным коротким маршрутом, к скрытым постоянным секретным постам, где круглый год находятся пять-шесть солдат-краснопогонников...

У беглецов есть соль и спички, не пропала еще надежда на спасение, но нет еды. Голод обозлил их, они стали раздражительными, болезненно вспыльчивыми. Какстая волков, попавшая в западню и изнывающая от голода, выбирает из среды своей жертву, так и голодные эки набросились, навалились на того, который первым усомнился в благополучном исходе побега.

...Большой костер трещал и дышал жаром углей. На вертеле жарились и подгорали куски мяса. Не глядя в глаза друг другу, ходили вокруг костра эки — то один, то другой — деловито, обильно посыпали, трусили на куски соль, предвосхищая обед. Их осталось четверо, они продолжают брести вперед. Теперь уже скорее по инерции, полулюди, полужвери. Каждого неотвязно изводит, точит мысль — не окажется ли он вторым на шампуре. Но вот радость — им попадаются выветренные и вымоченные оленьи рога и кости. Они валялись здесь всюду. Болото кончилось. Глаза беглецов вспыхнули огнем надежды. Вот уже четко обозначилась тропа, она ведет вверх, к расщелине в горах. Когда эки втянулись в узкий каменный проход, как гром раздалась команда: «Стой! Ложись!»

Спереди и сзади рычали и рвались с поводков служебные собаки. Так закончился еще один, самый жестокий, людоедский побег! Наверняка съели бы еще одного или двух, не удержи их группа захвата. А попадись им пастухи-оленоводы, последним бы не поздоровилось.



Депутата Верховного Совета СССР полковника Хохлова мы должны знать в лицо. Он — начальник политического управления Заполярья Коми АССР. Он курирует и контролирует лагеря ГУЛАГа. Имеет беспрепятственное, беспрецедентное право посещать любой объект. Вхож куда душа ни пожелает. В Коми республике он — царь и бог. Он невысокого роста, не стар, этот властелин республики зэков. С ним свита, состоящая из советников и телохранителей, как военных, так и гражданских лиц. Куда он, туда и они, кроме лишь лагеря зэков и производственной зоны, где те работают. Здесь его оставляют. У него правило: если он идет к зэкам, то — один. Предъявляет, достав из внутреннего кармана, волшебную красную книжку с выпуклым большим тисненым гербом СССР. Раскрыв удостоверение, показывает вахтеру или начальнику конвоя. Там фото его и наискось — широкая, тоже красная, полоса. Это дает ему право инспектировать все и вся. О нем ходят слухи, похожие на легенды.

Сам я несколько раз видел его, разговаривал с ним. Да, в личной смелости и оригинальности ему не откажешь. Я, будучи начальником конвоя второго гинекологического корпуса, на котором работало более ста зэков-мужчин, дважды пропускал на объект полковника Хохлова. «Начальник конвоя, не сопровождайте меня, несите службу, которая на вас возложена. Я один», — и шел к зэкам...

Они, похоже, боготворили его. Наедине с ним они могли высказать все, что их волновало. Безопасность его от фанатиков мести они обеспечивали железно. Он помогал им, и помощь Хохлова зэкам была существенна. Полнокровный ларек в лагере, выдача денег на руки для отоварки, зачеты день за два или за три, улучшение быта и оказание хоть какой-то медицинской помощи больным.

Письменные жалобы зэков на его имя не оставались без ответов, нередко следовало какое-нибудь послабление. На этот раз он прибыл в Инту по странной, необычной жалобе на начальника женского лагеря подполковника Корнеева. Парадоксально то, что жаловалась на него его собственная жена. Полковник Хохлов и до этого получал сигналы, что хозяин лагеря живет, как восточный султан.

В письме-жалобе отвергнутая, забытая мужем подполковничиха сетовала на холодность к ней супруга и ука-

зывала причину. Ссылалась на верную и преданную ей надзирательницу лагеря, которой доподлинно известно, что муж гуляет и что наложниц, вернее, невольниц, у него пол-лагеря. До разбора таких сигналов раньше не доходили руки, были дела поважнее. Теперь наступали другие времена.

Начальник лагеря действовал по принципу: что положено льву — не положено собаке. Его заместителю майору не позволялось то, что позволял себе его шеф. Опер по его указанию давно составил картотеку на тех заключенных, которые были арестованы и посажены в лагеря в 12—13—14-летнем возрасте, и передал хозяину. Это его не устроило. Потребовал на всех фото. Выбрал из них самых смазливых и сложил в отдельный конверт. Затем сделал еще одну выборку. В третьем конверте оказались отменные красавицы. Уломать их или уговорить по-доброму — дело техники.

Гарем начальника лагеря с годами разросся до маленькой зоны внутри большой. В нее входили: жилой барак, больничка и детдом на 200 малышей-дошколят. В лагере среди первых красавиц есть самые первые — признанные. К ним принадлежит Надя Москвичка. Она — дочь консула. По праву первой ей позволено многое. Когда ей надоест или наскучит лагерь, она идет с бригадой на легкую работу в Инту или к нам, в военный городок. При этом проносит за зону комплект гражданской одежды. На объекте переодевается, облачается в черную юбку, чулки капрон, на ноги — модные туфли. Надевает и гражданскую кофточку, на спине которой нелепо красуется нашитый прямоугольный лоскут с номером. Как хочется ей сбросить, хоть на короткое время, арестантскую робу, побыть собой, покрасоваться перед зеркалом, подругами и конвоем. В Надю Москвичку влюблялся каждый. Она — душа лагеря. Благодаря ее влиянию на начальника лагеря выигрывают все. Сносный мягкий режим относительно других лагерей, неущемление того малого, что положено заключенным.

Надя молода и неотразима. Когда она идет с бригадой на объект, то часто находится под неусыпным наблюдением грозы зэчек особиста-самодура Дурдадымова. Он оберегает ее по заданию начальника лагеря. Он-то уж знает: Надя соблазнит каждого, чары ее волшебны. В Инте летом, когда наш взвод заменил комендантский, в нашем новом бараке зэчки производили косметический ремонт. В бригаде неожиданно появилась Надя Москвичка. Волков находился в уже отремонтированной половине

барака-казармы. Она каким-то образом заприметила его, выделила среди остальных. Ушла из бригады и пришла к нему. Передала привет от Урсулы, но как бы между прочим, — скорее это был повод, чтобы познакомиться. Волков не отреагировал на сказанное и не передал ответный привет Урсуле. Ее все это, похоже, нисколько не интересовало. Волков встал к стене наискосок, к окну напротив, чтобы быть невидимым и видеть самому, кто идет. Надя прижалась к нему, прильнула, обвила шею руками и стала страстно лобзать. Он поддался на ее чувства, руки его, трепетно дрожа, скользили вниз, осязая тонкую талию, округлые бедра. А она, еще теснее прильнув к нему, поощряя его, одновременно страстно целуя, отнимала у Волкова последние искры разума. Оставалось мгновение, чтобы уже ничто не разъединяло их, как за окном слышались шаги, которых совсем не слышал Волков. Зато она каким-то шестым, присущим только женщинам чувством, находясь спиной к окну, уловила, что это он, Дурдадымов. Обернулась — да, он, тень его угловатой фигуры промелькнула в просвете окна. Руки ее на шее Волкова разжались и сползли по плечам, вялые, как неживые. Ничего не сказав ему, она рванулась к выходу. Теперь и он слышал за окном дикий рык Дурдадымова.

Потом, с другим конвоем, она передала ему записку. В ней предлагала встретиться в той части зоны, где часовой ее не увидит, зато хорошо заметит солдата, подошедшего к запретке. Значит, часовой может сообщить в караул, зафиксирует связь с врагом народа, а это — измена Родине. Вот к чему привело бы такое свидание. От записки пахло задуманной провокацией. У Волкова появились большие подозрения, что она желает ему 58-ю статью. Страх наказания пересилил. Больше он с ней не встречался.

Письмо жены начальника лагеря к депутату Верховного Совета СССР да контрольная проверка солдат по несению конвойной службы, выявившая полное их моральное разложение, подтолкнули политотдел к действиям. В арсенале оперативников политотдела было множество испробованных методов. Сначала отвлекающий, убаюкивающий осторожность маневр. Довели до руководства местных лагерей, что инспекционная проверка оставила у Хохлова хорошее впечатление. Он-де уехал удовлетворенный внутренним состоянием дел в лагерях. На самом

же деле Хохлов вскоре присутствовал на блестяще проведенной операции. Глубоким вечером двенадцать оперативников явились на вахту и взяли под контроль двоих солдат, не давая им возможности позвонить в штаб дежурному или другим способом известить начальника лагеря. Из окна вахты был виден его кабинет. За плотными шторами едва пробивался свет. На пути к штабу встретились двое надзирателей из военизированной охраны. Взяли их понятыми. В штабе на площадке второго этажа дежурила пожилая зэчка. Ей тихо приказали не двигаться и с места не сходить. Приготовленным заранее ключом открыли приемную, вторым ключом — кабинет. Нагих, ошеломленных, лежащих на широком диване, так и сняли на пленку, да еще не один раз. И столик на роликах перед диваном, уставленный лакомствами, и початую бутылку коньяка и шампанского. «А она-то, она, / дочки ему как раз, — сказал один надзиратель другому. — Молодец!»

Письмо подполковничихи на имя Хохлова возымело действие. Теперь бывший начальник принадлежал только ей. Его выперли со службы и из армии. Сняли и его заместителя майора. Привилегированный барак с зэчками распустили.

О, везенье! Немочка ли это? Не может быть! Я не видел ее три года. Бригада идет с работы медленно, устало. Она какая-то серая, расслабленная, тряпье выцветшее. И построены они не по ранжиру, вразнобой — выше, ниже, совсем ниже, потом выше, еще выше. Ногами вяло месят они снежную сырую кашу. Отрешенные женщины, отмеченные страшной судьбою.

Она выше всех, потому я и узнал ее, заметил. И она увидела меня, встрепелась, лицо ее просветлело и озярилось радостью. Она шла второй в ряду, с края шеренги, можно подойти к ней ближе. Конвой тоже устал и раскис. Мы в расположении части. Она торопится сказать мне, она волнуется.

— У меня от вашего, того, с усиками, сын, ему уже два года, он здесь, в зоне. Я думала, что тебя не увижу больше, не встречу. Я сожалею, что он не твой. Я работала в садике в зоне. Прощай. Ты скоро домой.

— А его нет, твоего с усиками, он в Воркуте. До свидания, счастья вам, — успеваю сказать ей.

Моя дисциплинированность на посту сослужила мне недобрую службу. В карауле я узнаю, что посты переиграла и я назначаюсь на двухсменный. Это еще одно испытание, устроенное мне начальником караула капитаном Скворцовым. Дикий армейский постулат гласит: сначала выполни приказ, а потом обжалуй его, если ты не согласен с ним. Мой сменщик наказан двухсменным постом за самовольную отлучку, а за что я? Нет, на пост я не пойду, не смирюсь с этим произволом. Людей хватает, нет причин для истязания двухсменным постом. Лег спать. Мне на пост во вторую смену. Встаю бодрый и несколько не подавленный, потому что знаю: на пост не пойду. Получаю приказ разводящего взять оружие и встать в строй.

— Доложите начальнику караула, что на двухсменный пост я не пойду,— заявил я разводящему.

Часовые уже выстроились в коридоре и ждут. Распахивается дверь, на пороге появляется Скворцов. Он недоволен, что его разбудили, у него заспанный, измятый вид.

— Рядовой Дмитриев, я вам приказываю встать в строй!

— В строй я не встану и на двухсменный пост не пойду.

Начальник караула полагал: срок службы у меня кончается, вряд ли я пойду в отказ. Ведь не только он, даже разводящий имеет право применить в карауле к неподчинившемуся все меры, вплоть до оружия. Так и делает капитан Скворцов. Он расстегивает кобуру и достает ТТ. Трясет, машет им у меня под носом. Я же спокоен, уверен в своей правоте, на моей стороне справедливость. По человеческому долгу убить меня он не должен. Это позволяет мне держаться невозмутимо. Скворцов же идет на крайность. Он приставляет мне к виску ствол пистолета, вдавливая и спрашивает: «Выполнишь приказ или нет?»

— Незаконный приказ не выполняю, на трехсменный пост пойду, а на двухсменный нет.

Он опускает руку и говорит разбуженному помначкараула:

— Сопроводите его в Инту, я даю ему пятнадцать суток строгого ареста.

Мы одеваемся и выходим на улицу. Сегодня редкая по красоте ночь. Мягкий мороз. Мягкий пушистый снег

редкими, крупными звездами лениво ложится на землю, на провода, на деревья. На перекрестке дорог из Западного поселка едет телега. «Может, подкинете нас до Инты?» — спрашивает помначкараула.

— Отчего же не подкинуть, подброшу, садитесь — все веселей будет, — отвечает пожилой возчик.

У меня тепло и радостно на душе. Я не чувствую себя арестованным и подавленным, а тем более виновным. Напротив, возвышенные чувства овладевают мной, я чувствую себя победителем, декабристом, пострадавшим за святое дело и сейчас едущим в ссылку.

Гарнизонная гауптвахта оказалась пустой и закрытой. Я был первым, кого впустили сюда после дезинфекции помещения. Мера эта оказалась вынужденной. В тесных камерах расплодились колонии прожорливых клопов и блох. Не скоро явился начальник гауптвахты со связкой ключей. Он открыл камеру, впустил и запер меня до утра. Часовых и дневальных не было. В нос били хлорка и другие ядохимикаты. Сняв замок с пристенных нар, я опустил их, выключил свет и улегся. Вскоре почувствовал раздражающие укусы рук и ног. Встал, включил свет и поразился: по нарам и по мне густо ползали клопы, некоторые уже напились крови. Ясно, спать они мне не дадут, зажрут. Поставил на середину камеры четыре табурета и улегся снова. Скоро ощутил легкие удары по лицу — как бы сорвавшиеся частички побелки с потолка. И снова укусы. Зажег свет. Все стало ясно — клопы сыпались на меня с потолка. Пришлось накрыть лицо носовым платком и спать при свете, передвинувшись на другое место. Долго не шел сон. Воспоминания предармейской жизни нахлынули на меня. Тяжелое чувство общей неустроенности жизни доминировало над всеми.

Правильно ли я себя веду? Да, правильно! Утешает, что скоро домой. Близка встреча с любимой женой. Это придает сил и выдержки. Пять лет мы дружили с ней, с поры юности. Расписавшись, год жили раздельно, в разных общежитиях, переноса унизительный пропускной режим комендантов. Через год после женитьбы получили маленькую комнатку в коммуналке, и через два месяца совместной жизни повестка в армию, на три года восемь месяцев. Что ожидает меня впереди? Прежняя работа в ремонтно-строительном цехе, скандальная, неблагодарная, постоянная грызня с мастером из-за нарядов, которые он не выдает перед работой на руки. Это позволяет ему в конце месяца выписать, вывести столько, сколько ему заблагорассудится. Где не допишет, где исказит ха-

раक्टर работы, где применит не те расценки, всяческими путями сдерживая заработок.

Обращения в РКК за справедливой помощью никогда и ничего нам не давали. Все наши жалобы тонули в бюрократической, демагогической говорильне, в формализме дутого народовластия. Когда мы этой «рабочей конфликтной комиссии» изрядно надоели, нас решили наказать. Нам дали доски, но не выдали гвоздей, и мы с напарником простаивали, требуя у мастера работу. Мастер хитрил, а когда часы показали 8 часов 31 минуту, позвонил в кадры завода, что-де мы отлыниваем от работы. Написал докладную, и нас судили. Мне, как старшему, срезали по 15 процентов с зарплаты на три месяца, а другу — по 10 процентов на два месяца. А до этого наказывали переводом на нижеоплачиваемую работу не по специальности, с потерей зарплаты упаковщика тары.

Мастер Иван Денисович до революции семнадцатого года работал гужбаном, поэтому владел отборным художественным матом и иногда пускал его в дело. А чаще читал нам в красном уголке в обед и в рабочее время лекции по вопросам большой международной политики. Он возлагал огромные надежды на то, что баллотировавшийся в президенты США Эдлай Стивенсон откроет новую эру в отношениях между нашими странами. С приходом его в Белый дом, в чем мастер был категоричен, будет достигнута полная гармония во всех сферах деятельности. Заканчивал он свои лекции тирадой: «Мы живем в самую счастливую эпоху сталинизма-ленинизма».

Как-то я не выдержал и заметил:

— Иван Денисович, правильное было бы сказать: в эпоху ленинизма-сталинизма.

Ярый сталинист с этим не согласился. Только сейчас, вспоминая о прошлом здесь, в камере, я осознал, что могло быть со мной, донеси на меня Иван Денисович.

Чем караульная служба — лучше больница, так решают солдаты, у которых острое воспаление гланд. А оно у каждого второго. К этому времени эки уже построили второй большой больничный корпус. Количество койко-мест значительно расширилось. Врачи и хирурги — как правило, бывшие или настоящие эки, которых доставляют в больницу под конвоем. Они не брезгают подлечить и нас, краснопогонников.

...Медсестра привела меня вниз, в полуподвальное помещение. В нем рядами стояли шкафчики, их было много, и все они оказались занятыми.



— Посиди, пока я схожу за халатом для тебя и за тапочками,— сказала она и ушла.

На маленькой скамейке лежал небольшой пухлый сверток. Я сел, но сверток теснил меня, я прикоснулся к нему и отодвинул. Послышался слабый писк, затем плач ребенка. Я взглянул и обомлел от неожиданности — ведь я мог случайно сесть на новорожденного. Маленькое розовое личико сморщилось, глазки плотно закрылись, из уголков губ пузырилась пена. Я сорвался с места и полетел искать сестру милосердия. Увидел ее в конце коридора, копающуюся среди разбросанного по полу белья.

— Сестра, сестра, идите скорее, там же ребенок!

Она невозмутимо продолжала делать свое дело.

— Там же ребенок, я мог сесть на него!

— Ну и сел бы, ничего не случилось бы!

— Как ничего?!

— Не ори! А вот так, я его смерти жду, как умрет да затихнет, отнесу в котельную кочегару, он его на лопате в топку швырнет. Ты что глазами-то хлопаешь, в толк взять не можешь? — И добавила: — Он уже наперед взял пол-литру.

Приятно удивил больничный ужин — булочка и стакан кефира, и палата на двоих. Вот уже почти четыре года мы не видели белого хлеба и молока. В полночь в палату привели мальчика, ему только что удалили глаз. Видимо, это не очень больно, он бодр и разговорчив и совсем не сокрушается, что остался без глаза. Уже после полуночи к нам зашла дежурная сестра и долго сидела, расспрашивая мальчика. А случилось, что соседи, уходя в кино, попросили его побыть с их малолетним ребенком. На стене у них висело ружье. К ним в комнату зашел старший брат мальчика, снял его и по неосторожности выстрелил. Прозвучал холостой выстрел, плотный войлочный пыж, вырезанный из голенища старого валенка, впился в глаз, и он вытек.

Здесь, в больнице, я узнал о начавшейся демобилизации, а когда вернулся в роту, то никого из старослужащих моего призыва уже не застал.

Прибывший нам на смену контингент новобранцев представлял собой удручающее зрелище. Бросался в глаза их неряшливый вид: одни плохо выбриты, другие обросли щетиной, все какие-то темноволосые и говорят меж собой то ли на чувашском, то ли на мордовском языке. Один из командиров отделений бойко дает команду: «Эй, мордва, становись по два!»

Они топчутся, неумело образуя строй. Суточный наряд в карауле для них только начало тяжелой и долгой службы. Я безмерно рад, что для меня все кончилось, что не придется больше идти в караул. Я уже знаю, что в канцелярии лежат заготовленные на меня документы. Остается получить их, взять у старшины в каптерке чемодан, и все! Прощай, промозглая, слякотная тундра, паутина колючей проволоки, немые вышки и все остальное, что так опостылело мне. Здесь прошли наши лучшие годы — бок о бок с заключенными, «злейшими врагами народа», которых мы, «выполняя свой почетный долг», сторожили...

Койка моя занята, на ней спит юный новобранец-салажонок. Меня уже нет в списке личного состава, однако я отдаю последнюю дань — пятьдесят рублей, чтобы хоть как-то утишить горе матери, потерявшей сына. Коллективно мы собрали для нее пять тысяч.

Зэки напали на конвой внаглую, вероломно, открыто. Их было восемнадцать, а конвоиров двое... Конвой расслабился, скоро домой, до демобилизации несколько дней, как-нибудь дотянуть... На «как-нибудь» и сорвалось. Дистанция меж ними была меньше положенных пятнадцати метров. Зэки, сговорившись, по сигналу мгновенно развернулись и бросились на конвой. Примкнутый штык карабина спас второго конвоира, он успел сбежать, бросив своего начальника. Тот отчаянно сопротивлялся, в схватке успел переломить автомат — затвор и пружина выпали, и сам он упал мертвым. Пружину зэки не нашли, не воспользовались автоматом. Они то ли затоптали ее, то ли начальник конвоя сумел в последний момент отбросить ее подальше.

В дивизии, да и не только в ней, а во всем огромном ведомстве ГУЛАГа о подвиге его будут говорить долго, будут учить на его примере поколения других краснопогонников. Так и только так должен поступать каждый чекист в борьбе с врагами — не щадить своей жизни, презирать смерть.

Убивается у гроба мать солдата, приехавшая из псковской деревни. Ее вопли и плач с причитаниями заглушает траурная музыка оркестра.

Воистину смена смене идет. В роте, в каждой анфиладе помещений свой взвод. Сгрудившись на табуретах, слушают новобранцы то, что нам давно уже пропели. На спинках кроватей подвешены географические карты, ко-

торые мы кончиками указок протерли до дыр, показывая намеченные жирной линией рукотворные каналы и моря, которые скоро, очень скоро в обозримом будущем дадут стране горы хлеба и бездну могущества. Рыбинское водохранилище командир взвода через раз называет морем. Оно оживит всю огромную площадь Нечерноземья. Сухой климат суховеев уступит место влажному, который превратит бедный край в зажиточный. На тучных полях будет колоситься ветвистая пшеница академика Лысенко. Нас ждут невиданные урожаи второго хлеба — картошки. Советские ученые освоили новые революционные агроприемы ее посадки и возделывания. Квадратно-гнездовой метод на опытных участках дает до 16 кг клубней. Впечатлительный и доверчивый рядовой Бражников не может сдержатъ изумления — то и дело ахает, просит повторить. «Товарищ старший лейтенант, до одного пуда картошки — разве это правда?» — басит он.

— Правда, товарищ Бражников, зря вы сомневаетесь. Нашим ученым подвластны любые высоты.

— А кустистая пшеница? — не унимается он.

— Вы имеете в виду ветвистую пшеницу? Да, как мне известно, вместо одного обычного колоска на ветвистом стебле их будут десятки, а может, и сотни. Мы, товарищи, стоим на пороге построения коммунистического общества. Наши ученые и инженеры успешно вторгаются в космос, разрабатывают мирный атом. Скоро наша страна покроется сетью атомных станций, проблема электрификации будет окончательно решена. Волго-Балтийский и Донской каналы соединят меж собой четыре моря. Каракумский и Туркменский каналы превратят безжизненную пустыню в цветущий оазис. Но наши замечательные ученые идут еще дальше — уже есть проекты, и они грандиозны! — это поворот великих сибирских рек вспять, на юг. Вы представляете, что будет, товарищи?! На доброй половине нашей территории изменится климат. У нас будут произрастать субкультуры. Но и это еще не все! Наши биологи, такие, как заслуженный академик Лепешинская, добились создания из искусственной плазмы живой клетки. В пробирке! Это такая победа, товарищи. Такого никому в мире еще не удавалось. Это переворот в науке. Это значит, что мы подчиняем своей воле тайну жизни!

Нам говорят, мы слушаем. Хотя кое-кто уже сильно сомневается.

Дмитриев  
Петр Федорович

## **«СОЛДАТ БЕРИИ»**

Воспоминания лагерного охранника

Художник *А. К. Тимошевский*. Художественный редактор *А. А. Власов*. Технический редактор *В. И. Демьяненко*. Корректор *Т. П. Гуренкова*

Сдано в набор 20.12.90. Подписано к печати 12.03.91. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага газетная. Гарн. обыкн. нов. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,40. Усл. кр.-отг. 8,61. Уч.-изд. л. 9,23. Тираж 150 000 экз. Заказ № 663. Цена 3 руб.

«Час пик», 191025, Ленинград, Невский пр, 70.  
Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

**Дмитриев П. Ф.**  
**Д53** Солдат Берии: Воспоминания лагерного охранника.— Л.: «Час пик», 1991.— 158 с.  
ISBN 5-7600-0005-5

Автор этой книги, призванный в 1951 г. на службу в войска МВД для охраны «особо опасных политических преступников», прошел свой путь от рабского подчинения системе до осуждения ее.

63.3(0)68



**ВОСПОМИНАНИЯ  
ЛАГЕРНОГО  
ОХРАННИКА**

# «СОЛДАТ БЕРИИ»

ДЕЛО №

ПРОКУРАТУРА ОБЩА ОФ

## Дело с роострелом

## Дело №

по обвинению